

Жорж Роденбах

Мертвый Брюгге



Жорж Роденбах

Мертвый Брюгге

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11246843

Аннотация

«День умирал, наполняя мраком коридоры огромного безмолвного дома, налагая точно креповые покровы на окна.

Гюг Виан собрался выйти, по своей привычке гулять ежедневно в сумерки. Ничем не занятый, одинокий, он проводил целый день в своей комнате, обширном зале первого этажа, окна которого выходили на quai du Rosaire, где стоял его дом, отражаясь в воде...»

Содержание

Глава I	4
Глава II	10
Глава III	17
Глава IV	26
Глава V	30
Глава VI	36
Глава VII	40
Глава VIII	47
Глава IX	58
Глава X	62
Глава XI	66
Глава XII	74
Глава XIII	82
Глава XIV	85
Глава XV	91

Жорж Роденбах

Мертвый Брюгге

Глава I

День умирал, наполняя мраком коридоры огромного безмолвного дома, налагая точно креповые покровы на окна.

Гюг Виан собрался выйти, по своей привычке гулять ежедневно в сумерки. Ничем не занятый, одинокий, он проводил целый день в своей комнате, обширном зале первого этажа, окна которого выходили на quai du Rosaire, где стоял его дом, отражаясь в воде.

Иногда он читал журналы, старые книги; много курил, мечтал у открытого окна в серые дни, отдаваясь воспоминаниям.

Исполнилось пять лет с тех пор, как он живет таким образом, переселившись в Брюгге после смерти жены. Прошло уже пять лет! И он повторял сам себе: «Вдовец, я – вдовец!» Непоправимое и короткое слово, хорошо определяющее одинокое существо!

Для него разлука была ужасна: он познал любовь в роскоши, среди досуга, путешествий, новых стран, обновлявших идиллию. Это была не только мирная отрада примерной супружеской жизни, но не ослаблявшаяся страсть, про-

должительное возбуждение, более спокойный поцелуй, слияние душ, различных, но все же соединенных, подобно параллельным набережным канала, смешивающего оба их отражения.

Десять лет такого счастья были едва уловимы: настолько они быстро прошли!

Затем молодая женщина умерла, накануне тридцатого года, пролежав в постели только насколько недель, вскоре уже распростертая на этом ложе последнего дня, врезавшемся навсегда у него в память: он видел поблекшую и белую, как освещавшая ее свеча, свою жену, которую он обожал, когда она была так прекрасна, с ее цветом лица, как у цветка, с ее широкими и черными зрачками, точно окруженными перламутром, темный цвет которых служил контрастом к ее длинным и волнистым волосам, оттенка янтаря, покрывавшим, если она их распускала, всю спину. У Мадонн старых мастеров встречаются такие золотые волосы, спускающиеся нежными волнами.

Наклонившись над ее телом, Гюг отрезал этот сноп волос, заплетенный в длинную косу во время последних дней болезни. Не есть ли это сострадание смерти? Она разрушает все, но оставляет без изменения волосы. Глаза, губы, – все меняется и исчезает. Волосы даже не теряют своего цвета. Только в них люди переживают себя! Теперь, через пять лет, сохраненные волосы умершей жены совсем не побледнели, несмотря на горечь стольких слез, пролитых над ними.

Гюг Виан в этот день еще мучительнее пережил все свое прошлое из-за серой ноябрьской погоды, когда колокола словно рассыпают по воздуху прах звуков, мертвый пепел многих лет.

Однако он решился выйти не для того, чтобы искать вне дома какого-нибудь принудительного развлечения или какого-либо лекарства от своего горя. Он не хотел даже пытаться сделать это... Но он любил блуждать в сумерки, находить сходство между своим трауром и одинокими каналами или частями города, где много монастырей.

Спускаясь в нижний этаж своего дома, он заметил, что были настежь открыты в светлый коридор обыкновенно закрытые двери.

Он позвал среди тишины свою старую служанку: «Барбара!.. Барбара!..»

Сейчас же показалась женщина в амбразуре первой двери и, догадываясь, почему окликнул ее хозяин, сказала:

– Сударь, я должна была убирать сегодня комнаты, потому что завтра праздник.

– Какой праздник? – недовольным тоном спросил Гюг.

– Как? Вы не знаете? Праздник Введения во храм. Я должна пойти к обедне в Бегинаж. Этот день равен воскресенью. Завтра я не могу работать, поэтому я убираю комнаты сегодня.

Гюг Виан не скрыл своего неудовольствия. Она хорошо знала, что он желает присутствовать при уборке. В этих двух

комнатах находилось слишком много драгоценностей, воспоминаний о Ней и о прошлом, чтобы предоставить служанке убирать там одной. Он желал иметь возможность следить за нею, за ее движениями, проверять ее осторожность, видеть степень ее почтительности. Он хотел сам дотрагиваться – если нужно было их снять с места, чтобы стереть пыль – до тех или других дорогих безделушек, вещей умершей, подушки, экрана, вышитого ее руками... Ему казалось, что прикосновение ее пальцев ощущалось повсюду, среди этой неприкосновенной и все еще одинаковой обстановки, диванов, кушеток, кресел, на которых она сидела и которые, так сказать, сохранили форму ее тела. На занавесках оставались вековечные складки, которые она им придала. Ему казалось, что надо с осторожностью мыть губками и вытирать светлую поверхность зеркал, чтобы не стереть отражения ее лица, скрытого в глубине. Но больше всего Гюг старался сохранить и сберечь портреты бедной умершей жены, – портреты, снятые в различное время, повсюду разбросанные, на камине, маленьких столиках, на стенах, и в особенности – какая-нибудь случайность с ними могла бы разбить ему его душу! – он дорожил этими длинными волосами, которые он не пожелал запереть в ящик комода или в какую-нибудь темную шкатулку – что равнялось бы заключению их в гробницу! – а предпочел, видя, что они остаются живыми, неизменного золотого оттенка, оставить их распущенными и видимыми, точно это была бессмертная частица ее любви!

Чтобы постоянно созерцать эти волосы, точно продолжавшие ее существование в этой всегда одинаковой комнате, он поместил их на безмолвном отныне пианино, просто распущенными, точно прерванную косу, разбитую цепь, канат, уцелевший от кораблекрушения! Чтобы спасти их от осквернения, сырого воздуха, могущего изменить их цвет, как бы окисировать их металлический оттенок, ему пришла в голову мысль – наивная, если бы она не была трогательной! – заключить их под стекло в прозрачную шкатулку, хрустальный ящик, где покоилась бы обнаженная коса, которой он желал поклоняться вечно.

Ему, как и всем безмолвным окружающим предметам, казалось, что с этими волосами связано их существование и что они являются душою жилища.

Барбара, старая служанка-фламандка, немного хмурая, но преданная и заботливая, знала, как осторожно надо обращаться с этими предметами, и подходила к ним с дрожью. Необщительная, в своем черном платье и чепчике из белого тюля, она имела вид сестры-привратницы. К тому же, она часто ходила в Бегинаж повидать свою единственную родственницу, бегинку, сестру Розалию.

От этих посещений, от этой благочестивой привычки, она усвоила любовь к тишине и скользила по комнатам, точно всегда шла по церковным плитам. Она не вносила ни шума, ни смеха в печальный дом Гюга Виана, и он привык к ней с самого своего приезда в Брюгге. У него не было другой

прислуги, и она сделалась ему необходима, несмотря на ее невинную тиранию, ее причуды старой девы и ханжи, ее желание действовать по-своему, проявившееся и в этот день, когда она из-за священного праздника привела в беспорядок комнаты, несмотря на его строгие приказания.

Гюг подождал уходить, пока она не убрала мебель и пока он не убедился, что все дорогое ему цело и поставлено на место. Затем, успокоившись, он запер окна и двери и решил сделать свою обычную прогулку в сумерки, несмотря на продолжавшийся дождь и частый туман конца осени, – мелкий вертикальный дождь, который точно плачет, ткёт воду, наматывает воздух, усеивает иголками гладкие каналы, охватывает и пронизывает душу, подобно птице, попавшей в мокрые сети с бесконечными петлями!

Глава II

Гюг каждый день отправлялся по тому же пути, вдоль набережных, неровною походкою, уже немного согнувшись, хотя ему только что исполнилось сорок лет. Но вдовство создало ему раннюю осень... Виски еле обнажились, в волосах виднелась седина. Его поблекшие глаза смотрели вдаль, очень далеко, по ту сторону жизни.

Каким печальным, подобно ему, казался Брюгге в такие вечера! Он любил его таким! Из-за этой самой грусти он избрал его и переселился сюда после своего великого горя. Прежде, в пору счастья, когда он путешествовал со своей женой, живя сообразно с своей фантазией, ведя несколько космополитический образ жизни – в Париже, за границей, на берегу моря, – он мимолетно заезжал сюда с нею, но великая меланхолия этого города не могла повлиять на их радость. Позднее, став одиноким, он снова вспомнил о Брюгге и неожиданно захотел отныне навсегда поселиться там. Создавалось таинственное сходство! Мертвой супруге должен был отныне соответствовать мертвый город. Его великий траур требовал подобной обстановки. Он мог переносить жизнь только здесь. Он инстинктивно понял это. Пусть люди в других местах волнуются, шумят, устраивают пышные празднества, оглашают воздух тысячью различных звуков! Он нуждался в бесконечном безмолвии и столь однооб-

разном существовании, чтобы оно не казалось даже жизнью.

Почему возле физических страданий, в комнате больного, надо молчать, заглушать свои шаги? Почему шум, голоса кажутся точно срывающими перевязку и раскрывающими рану?

Нравственным страданиям шум тоже приносит боль!

Среди немой атмосферы вод и пустынных улиц Гюг менее чувствовал страдание своего сердца, он думал с большей нежностью о своей умершей. Он яснее увидел и услышал ее снова, находя в воде каналов отражение ее лица, словно умирающей Офелии, угадывая ее голос в тихом и далеком пеннии колоколов...

Город, также некогда любимый и прекрасный, воплощал его сожаления. Брюгге был для него его умершей. А умершая казалась ему Брюгге. Все сливалось в одинаковую судьбу. Мертвый Брюгге сам был положен в гробницу из каменных набережных, с похолодевшими артериями его каналов, когда перестало в нем биться великое сердце моря.

В этот вечер, более чем когда-либо во время его бесцельных скитаний, мрачное воспоминание охватывало его, показывалось из-под мостов, где словно плачут лица невидимых источников. Похоронное впечатление исходило из запертых домов, окон, похожих на глаза, затуманенные агонией, – остроконечных крыш, отражавших в воде креповые лестницы... Он миновал Quai Vert, Quai du Miroir, направился в сторону Pont du Moulin, печальных предместий, окаймленных топо-

лями. И повсюду на его голову сыпались, как холодные капли, мелкие, полные слез ноты приходских колоколов, падавшие точно из кропильницы для отпущения чьих-либо преступлений.

Среди этого вечернего и осеннего одиночества, когда ветер сметал последние листья, он испытал сильнее, чем когда-либо, желание покончить с жизнью и нетерпеливое стремление к могиле. Казалось, что тень падала от башен на его душу, что древние стены давали ему совет, что какой-то шепот поднимался от воды, и вода стремилась к нему, как она стремилась к Офелии, судя по рассказам шекспировских могильщиков.

Несколько раз он ощущал это влияние обстановки. Он слышал молчаливый призыв камней; он на самом деле постиг волю вещей – не противиться окружающей смерти.

Он серьезно и долго думал о самоубийстве. Ах, как он обожал эту женщину! Ее глаза но-прежнему были устремлены на него... А ее голос, который он все еще хотел уловить, хотя он скрылся так далеко, на краю горизонта! Что же было в этой женщине, что она так привязала его к себе, внушила отвращение к целому миру, как только она сама исчезла? Есть, значит, любовь, напоминающая плоды с берегов Мертвого моря, которые оставляют во рту только вкус вечного пепла!

Если он воспротивился этой навязчивой мысли о самоубийстве, это тоже произошло из-за нее. Религиозное дет-

ство снова всплыло в его душе вместе с развитием его печали. Как мистик, он надеялся, что небытие не является концом жизни и что он когда-нибудь снова увидит ее. Религия запрещала ему добровольную смерть. Она равнялась бы его исключению из лона Бога, лишению смутной надежды снова увидеть ее!..

Итак, он остался жить; он стал даже молиться, находя отраду в воспоминаниях о ней, ожидая встречи с нею в садах неизвестного неба; он мечтал о ней в церквах, под звуки органа.

В этот вечер он зашел мимоходом в церковь Notre-Dame, где он часто любил бывать из-за ее похоронного вида: везде, на стенах, на полу, находились надгробные плиты с головами умерших, стертыми именами, надписями, изъеденными, точно уста камней... Сама смерть стиралась здесь смертью...

Но тут же рядом бренность жизни озарялась утешительным видением любви, продолжавшейся и после смерти; что особенно привлекало Гюга в эту церковь: это были знаменитые гробницы Карла Смелого и Марии Бургундской, в глубине боковой часовни. Какое трогательное впечатление производили они! В особенности, – она, нежная принцесса, со сложенными пальцами, головой, покоящейся на подушке, в медной одежде, с ногами, опирающимися на собаку, символ верности, – вытянувшаяся во весь рост на своем саркофаге! Так и его умершая жена покоилась в его мрачной душе. Придет время, и он ляжет, подобно Карлу, возле нее. Сон друг

возле друга, – хорошее прибежище смерти, если даже христианская надежда не должна была осуществиться и соединить их!

Гюг вышел из Notre-Dame более грустный, чем когда-либо. Он направился в сторону своего дома, так как приближалось время его обычной вечерней трапезы. Он искал в душе воспоминание об умершей, чтобы связать его с только что виденной гробницей и представить ее с другим лицом. Но черты умерших, сохраняясь некоторое время в нашей памяти, мало-помалу стираются, бледнеют, точно пастель без стекла, которая исчезает бесследно. И в нашей душе наши умершие умирают во второй раз!

Вдруг, в то время как Гюг восстанавливал, – напрягая свой разум, точно смотря в глубину своей души, – ее наполовину уже стертые черты, он, обыкновенно едва замечавший прохожих, к тому же очень редких, ощутил внезапно волнение при виде одной молодой женщины, шедшей ему навстречу. Он прежде, не заметил, как она приближалась с конца улицы, и увидел ее только тогда, когда она была совсем близко.

Взглянув на нее, он быстро остановился, точно вкопанный; женщина, шедшая в обратном направлении, прошла возле него. Это было внезапное потрясение, словно появление призрака! У Гюга закружилась голова. Он провел рукою по глазам, точно для того, чтобы избавиться от сна. Затем, после минутного колебания, повернув в сторону неизвестной, удалявшейся медленной походкой, он направился на-

зад, бросил набережную, но которой шел, и последовал за ней. Он шел быстро, чтобы догнать ее, переходя с одного тротуара на другой, подходя к ней, смотря ей в глаза с настойчивостью, которая была бы неприлична, если бы незнакомка не была так задумчива. Молодая женщина шла с безучастным видом, не замечая никого. Гюг казался все более и более странным и смелым. Он шел за ней уже в продолжение нескольких минут, с одной улицы на другую, то подходя к ней, точно желая окончательно убедиться, то удаляясь от нее, с видом ужаса, когда находился слишком близко. Он чувствовал себя одновременно привлеченным и испуганным, как возле глубокого колодца, в котором люди хотят найти черты дорогого лица...

Да! На этот раз он хорошо рассмотрел ее. Этот цвет лица, точно на пастели, эти глаза с широкими и темными зрачками были одинаковы! По мере того, как он шел за ней, он заметил, что ее волосы, видневшиеся на затылке, под черною шляпою и вуалеткою, отличались сходным золотым отливом, цвета янтаря и кокона, волнистого, желтого оттенка. Одно маленькое несоответствие между ночными глазами и пламенным полднем волос!

Неужели его рассудок находился в опасности? Или его сетчатая оболочка; из желания сохранить умершую, отождествляла с ней прохожих? В то время как он стремился вспомнить ее черты, неожиданно появившаяся женщина показала ему слишком сходное родное лицо. Тревога от тако-

го видения! Почти страшное чудо сходства, доходившего до тождества!

И все: ее походка, талия, ритм ее тела, выражение лица, глубокий мечтательный взгляд, все, что связано не только с линиями и красками, но и с психологией и движениями души, – все это снова вернулось к нему, снова показалось, точно ожило!

С видом лунатика Гюг все еще шел за ней, теперь машинально, не зная почему и не размышляя больше, по окутанному туманом лабиринту улиц Брюгге. Дойдя до перекрестка, откуда можно идти в несколько направлений, он вдруг потерял ее из виду – она ушла, скрылась в неизвестно какой извилистой улице...

Он остановился, смотря вдаль, созерцая пустоту, ощущая слезы на глазах...

Ах, как она напоминала его умершую жену!

Глава III

Гюг сохранил от этой встречи большую тревогу. Теперь, когда он думал о своей жене, он вспоминал незнакомку того вечера; она была для него живым, более ясным воспоминанием. Она казалась ему теперь точно еще более похожей на умершую.

Когда он в своем немом поклонении целовал реликвию хранимых волос или приходил в умиление перед каким-нибудь портретом, он сопоставлял изображение не с умершей, а с живой женщиной, напоминавшей ее. Таинственное сходство двух лиц! Это было точно сострадание судьбы, дарившей опору его памяти, помогая ему бороться с забвением, заменяя живым изображением то, которое бледнело, желтело и портилось от времени.

Гюг владел теперь более прочным и совсем новым изображением утраченной им женщины. Ему довольно было вспомнить древнюю набережную, наступающий вечер и приближавшуюся к нему навстречу женщину, с чертами его умершей жены. Ему не надо было заглядывать далеко в свое прошлое, отступать на много лет назад: ему достаточно было подумать о последнем или предпоследнем вечере. Это было совсем близко и теперь очень легко! Его взгляд снова созерцал дорогие черты: новый отпечаток слился с прежним, причем они усилили друг друга, создавая сходство, которое

теперь производило впечатление почти настоящей действительности.

Гюг в следующие дни чувствовал себя захваченным этим видением. Итак, существовала женщина, очень похожая на ту, которую он потерял. Когда он видел, как она проходила, ему пришла в голову на одну минуту ужасная мысль, что та вернется, уже возвратилась, шла снова навстречу к нему, как прежде. Те же глаза, тот же цвет лица, те же волосы – все было одинаково похоже! Странный каприз Природы и Судьбы!

Ему хотелось бы снова повидать ее. Может быть, он никогда больше не увидит ее. Однако сознание, что она близко и что он может ее встретить, заставляло его чувствовать себя менее одиноким и не таким вдовцом. Разве он действительно вдовец, если его жена только отсутствует и появляется через короткие перерывы?

Ему казалось, что он снова встретит свою умершую, если пройдет та, которая походит на нее. С этой надеждой он выходил в тот же. самый час вечером, по направлению к тем местам, где он ее видел; он шел по старой набережной с почерневшими остроконечными крышами, с тюлевыми занавесками на окнах, из-за которых незанятые женщины, быстро заинтересованные его блужданием, наблюдали за ним; он удалялся по мертвым улицам, извилистым переулкам, в надежде увидеть ее, когда она неожиданно покажется на каком-нибудь перекрестке.

Так прошла неделя, полная постоянного обманутого ожи-

дания. Он уже стал менее думать о ней, когда однажды, в понедельник, – в такой же день, как раз, как и первая встреча, – он снова увидел ее, узнал, когда она приближалась к нему своей раскачивавшейся походкой. Еще сильнее, чем в предыдущий раз, ее сходство показалось ему полным, абсолютным, прямо ужасающим...

От волнения его сердце почти перестало биться, точно он должен был умереть; кровь прилила к ушам, – словно белый тюль, свадебные вуали, процессии причастниц затуманили его глаза. Затем совсем близко показалось темное пятно проходившего мимо него силуэта.

Женщина, конечно, заметила его волнение, так как удивленно посмотрела в его сторону. Ах, этот снова возвратившийся взгляд, вышедший из состояния небытия! Он снова почувствовал на себе этот взгляд, который он не надеялся больше увидеть, считал поглощенным землею..... пристальный и нежный взгляд, обновленный, снова ласкавший его. взгляд, пришедший издалека, точно воскресший из могилы, подобно взгляду Лазаря, устремленному на Христа.

Гюг почувствовал себя бессильным, привлеченный всем своим существом, захваченный этим видением. Умершая жена была перед ним: она удалялась. Надо было следовать за ней, подойти, смотреть на нее, упиться ее снова найденными глазами, осветить свою жизнь этими, напоминающими факел, волосами. Надо было, не рассуждая, идти за ней на край города и на край света... Он не задумался, машинально от-

правился за ней, на этот раз совсем близко, с возрастающим страхом потерять ее в этом древнем городе с извилистыми и кривыми улицами.

Разумеется, он ни минуты не подумал о том, что неприлично держит себя: преследует женщину. Ах! нет! он шел за своей женой, он провожал ее во время прогулки, в сумерки, и должен был проводить ее до могилы...

Гюг все шел, увлеченный, точно охваченный мечтой, или рядом с незнакомкой, шел позади ее, не замечая даже, что после пустынных набережных они достигли торговых улиц, центра города, Grand'Place, где огромная и черная башня крытого рынка боролась с надвигающейся ночью при помощи золотого щита – своего циферблата.

Молодая женщина, стройная и быстрая в движениях, как бы желая избавиться от этого преследования, устремилась на, rue Flamande – отличающуюся древними, украшенными скульптурой, точно кормы судов, фасадами, причем ее силуэт еще яснее обрисовывался каждый раз, как она проходила перед освещенным окном магазина или находилась в широком кругу света фонаря.

Затем он увидел, как она быстро пересекла улицу, направилась в сторону театра, дверь которого была открыта, и вошла туда.

Гюг не останавливался... Его охватила неудержимая сила, точно он стал ее вечным спутником. Движения души имеют тоже свою скорость. Покоряясь раз данному толчку, он,

в свою очередь, вошел в вестибюль, куда прибывала толпа. Но его видение исчезло. Нигде, ни среди стоявшей в хвосте публики, ни у контроля, ни на лестницах он не видел молодой женщины. Куда она исчезла? Через какой ход? В какую боковую дверь? Он ясно видел, что она вошла. Конечно, она шла на спектакль. Она войдет сейчас в зал. Может быть, она уже там, сидит в кресле или в красном полумраке лож. Снова найти ее! Снова увидеть ее! Ясно созерцать ее в продолжение целого вечера! Он чувствовал, что его голова кружится от этой мысли, одновременно причинявшей ему радость и горе. Но он даже не подумал противиться этому внушению. И, ничего не взвешивая, ни своего странного поведения в течение целого часа, ни безрассудства своего нового проекта, ни аномалии – присутствовать на театральном представлении, несмотря на свой глубокий и вечный траур, – он без колебания подошел к кассе, взял билет и вошел в зал.

Его взгляд быстро пробежал по всем местам, рядом кресел, бенеуара, ложам, верхней галерее, мало-помалу наполнявшимся, озаренным увлекательным светом люстр. Он не нашел ее и сделался смущенным, беспокойным, грустным. какой злой случай пошутил над ним? Галлюцинация лица, то показывающегося, то скрытого! Прерывистые явления, точно проблеск луны в облаках! Он ждал, все еще искал. Запоздавшие зрители спешили занимать свои места, среди резкого шума дверей и кресел.

Только она одна не показывалась.

Он начинал сожалеть о своем необдуманном поступке. К тому же все заметили его присутствие, удивлялись, наводили на него бинокли, чего он не мог не видеть. Разумеется, он никого не посещал, не сошелся ни с одним семейством, жил одиноко. Но все знали его в лицо, по крайней мере, знали, кто он такой, и слышали об его благородном отчаянии, в этом мало населенном Брюгге, столь не занятом, что все знают друг друга, интересуются приезжими, передают новости о соседях и наводят у них справки.

Это была неожиданность, почти конец легенды, торжество злых людей, всегда улыбавшихся, когда им говорили о неутешном вдовце.

Гюг, поддаваясь тому влиянию толпы, которое она оказывает, когда охвачена одною общею мыслью, ощутил в эту минуту нечто вроде вины перед самим собою, нарушения благородной клятвы, как бы первую трещину в сосуде своего супружеского культа, через которую его печаль, донныне хорошо сохраненная, должна была истечь по каплям.

Оркестр начал тем временем играть увертюру той оперы, которую давали в этот вечер. Он прочел на программе у своего соседа название большими буквами: Роберт Дьявол, одну из этих старомодных опер, из которых почти всегда составляются провинциальные спектакли. Скрипки теперь брали первые ноты.

Гюг еще более смутился. Со времени смерти его жены он не слышал никакой музыки. Он боялся звука инструментов.

Даже шарманка на улице, с своею прерывистою и слащавою музыкою, вызывала у него слезы. Так же действовал на него орган в церквах Notre-Dame и Sainte-Walburge, по воскресеньям, казалось, покрывающий прихожан черным бархатом и катафалком звуков.

Оперная музыка теперь раздражала его мозговую оболочку; струны били по нервам. У него защемило в глазах. Что, если он заплачет? Он уже захотел уйти, как вдруг странная мысль промелькнула у него в уме: женщина, за которую он в припадке безумия, из-за ее отродного сходства, следовал до зала, не находилась здесь, он был в этом уверен. Однако она вошла в театр почти у него на глазах. Но, если ее не было в зале, быть может, она появится на сцене?

Профанация, заранее разрывавшая ему всю душу! Сходное лицо, черты его супруги при свете ramпы и покрытые гримом! Что, если эта женщина, за которой он шел и которая, разумеется, быстро исчезла в какую-нибудь боковую дверь, была актрисой, и он увидит ее жестикулирующею и поющею? Ах! ее голос? Будет ли у нее, чтобы довершить сходство, тот же голос, – тот же голос оттенка прочного металла, точно из смеси серебра с бронзою, который ему не суждено было услышать никогда, никогда?

Гюг чувствовал себя взволнованным при одной мысли, что случайность могла продолжаться до конца; и, полон тревоги, он ждал, как бы предчувствуя, что его подозрение оправдается.

Проходили акты, ничего не выясняя ему. Он не нашел ее ни среди певиц, ни среди хористок, нарумяненных и расписанных, как деревянные куклы. Не обращая внимания на весь спектакль, он решил непременно уехать после сцены монахинь, кладбищенская обстановка которой наводила его на похоронные мысли. Но вдруг, в сцене общего пробуждения, когда балерины, изображая сестер монастыря, пробудившихся от вечного сна, проходят длинною вереницею, когда Елена оживает в своей могиле и, сбрасывая саван и одежду, воскресает из мертвых, – Гюг ощутил потрясение, как человек, избавленный от мрачной думы и входящий в праздничный зал, свет которого переливается в его трепещущих глазах.

Да, это была она! Она была балериной! Но он не подумал об этом ни минуты. Ему казалось, что умершая, вставшая из каменной гробницы, это была его умершая, которая теперь улыбалась, приближалась, протягивала руки.

Теперь балерина еще более походила на нее – это могло довести его до слез – с ее глазами, еще более темными от грима, ее распущенными волосами необыкновенного золотого цвета...

Трогательное видение, мимолетное, после которого быстро упал занавес.

Гюг с возбужденной головой, взволнованный и обрадованный, возвращался по набережным каналов, точно находясь в галлюцинации под влиянием постоянного видения,

раскрывавшего все еще перед ним, даже темною ночью, свою светлую рамку... Таким был и доктор Фауст, очарованный магическим зеркалом, в котором виднелся небесный образ женщины!

Глава IV

Гюг легко узнал, кто она такая. Он прочел ее имя: Жанна Скотт, значившееся крупными буквами на афише, она жила в Лилле, приезжала два раза в неделю с труппой, в которой, служила, в Брюггедавать представления.

Балерины не считаются вовсе пуританками. Однажды вечером, решившись из-за мучительного очарования такого сходства подойти к ней, он остановил ее.

Она ответила, нисколько не удивляясь, точно ожидая встречи, голосом, взволновавшим Гюга до глубины души. Одинаковый голос! Голос той женщины, очень похожий, снова услышанный, голос одинакового оттенка, голос точно из чеканного золота. Демон аналогии насмеялся над ним! Или, быть может, существует тайная гармония в чертах лица, и известным глазам, известным волосам должен соответствовать один и тот же голос?..

Почему ей не иметь одинакового с умершей голоса, если у нее те же широкие черные зрачки, точно окруженные перламутром, те же редкие волосы несуществующего золотого оттенка? Смотря на нее теперь поближе, совсем близко, он не ощущал никакой разницы между прежней и новой женщиной. Гюг был поражен, что эта женщина, несмотря на пудру, румяна, освещение рампы, имела тот же естественный цвет лица, при неизменной неясности кожи. В обращении у

нее ничего не было развязного, как у большинства балерин: скромный наряд и, как казалось, сдержанный и тихий характер.

Несколько раз Гюг видел ее, разговаривал с ней. Волшебство сходства делало свое дело... Однако он не ходил больше в театр. В первый вечер это казалось очаровательным коварством судьбы. Если она создавала для него иллюзию снова найденной умершей жены, было вполне правильно, что она показалась ему сначала воскресшей из мертвых, встающей из своей гробницы среди волшебной обстановки и лунного света. Но с тех пор ему не хотелось видеть ее такою. Она стала для него снова женщиной, начавшей свою жизнь в тишине, одеваясь в скромные одежды. Чтобы иллюзия оставалась неизменной. Гюг хотел видеть балерину только в обыкновенном туалете, так еще более похожую и совсем одинаковую. Теперь он часто заходил к ней, каждый раз, как она играла, ожидая ее в гостинице, где она останавливалась. Сначала он удовлетворялся успокоительною ложью ее лица. Он искал в ее лице черты умершей. В течение долгих минут он смотрел на нее с мучительною радостью, разглядывая ее губы, волосы, цвет лица, запечатлевая их в своей памяти вместе с ее неподвижными глазами... Волнение, экстаз источника, казавшегося мертвым, где появляется вдруг вода. Теперь вода не мертва, ее зеркальная поверхность жива!

Чтобы отдаться вполне иллюзии ее голоса, он закрывал иногда глаза: он слушал, как она говорит, упивался этими

звуками, настолько похожими, что можно было обмануться, если не считать того, что иные слова произносились как бы под сурдинку, точно окутанные ватой. Можно было думать, что умершая говорит за ширмами.

Однако от этого первого появления ее на сцене у него осталось смущавшее его воспоминание: он заметил ее обнаженные руки, ее шею, тонкую линию спины и представлял их себе теперь в закрытом платье.

Интерес к телу закрадывался в его душу.

Кто расскажет страстные объятия любящей четы, долгое время находившейся в разлуке? Смерть в этом случае была только разлукою, так как он снова нашел ту же женщину...

Смотря на Жанну. Гюг думал об умершей жене, о прежних поцелуях и объятиях. Ему казалось, что он снова овладеет тою женщиною, если эта будет принадлежать ему. То, что казалось навсегда оконченным, снова должно было начаться! Он не изменит в этом случае жене, так как он будет любить ее в этом образе, целовать такие же уста, какие были у нее.

Гюг таким образом познал мрачные и сильные радости. Его страсть казалась ему не кошунственной, а чудесной: настолько он слил этих двух женщин в одно существо, – потерянное, снова найденное, всегда любимое, как в настоящем, так и в прошлом, одаренное одинаковыми глазами, волосами, необыкновенно красивою кожею, телом, которому он остался верен.

Каждый раз теперь, как Жанна приезжала в N, Гюг встречался с ней, иногда после обеда, перед спектаклем, но скорее всего по окончании, в тихую полночь, когда он до позднего часа очаровывался ею: вопреки очевидности, несмотря на его неизменный глубокий траур, чуждый и временный характер комнат в гостинице, ему удавалось мало-помалу убедить себя, что дурных лет вовсе не было, что он снова у домашнего очага, в ласковой обстановке, возле первой жены, наслаждаясь тихой близостью перед дозволенными поцелуями.

Нежные вечера: запертая комната, внутренний мир. единство любящей четы, безмолвие и полный покой! Глаза, как ночные бабочки, все забыли: черные углы, холодные окна, дождь на улице, зиму, колокольный звон, извещавший о смерти часа – с целью кружиться только в узком кругу лампы!

Гюг снова переживал такие вечера... Полное забвение! Возврат к прошлому! Время течет по склонам без камней... живя так, кажется, что живешь уже в вечности!

Глава V

Гюг поселил Жанну в уютном домике, нанятом им для нее на бульваре, который вел к предместьям, покрытым зеленью и мельницами.

В то же время он убедил ее бросить театр. Благодаря этому, он мог иметь ее всегда внезависимо с ним. Ни одной минуты ему не казалось странным, что он, серьезный человек в его возрасте, после столь безутешного траура, вступил в любовную связь с балериной. Собственно говоря, он не любил ее. Его желание сводилось только к возможности увековечить призрак миража. Когда он брал в руки голову Жанны, приближал ее к себе, он хотел только посмотреть ее глаза, найти в них что-то, что он видел в других глазах: какой-нибудь оттенок, отражение, жемчужину, цветы, корень которых находится в душе, – все, что, быть может, скрывалось и в них.

Иногда он распускал ее волосы, рассыпал по плечам, медленно собирал и наматывал их, точно желая заплести.

Жанна ничего не понимала в этих неестественных приемах Гюга, в его немом поклонении.

Она помнила его непонятную грусть в начале их отношений, когда она сказала ему, что ее волосы – крашенные, и как он волновался всегда с тех пор, следя за тем, чтобы они оставались одинакового оттенка...

Я не хочу больше красить волосы, – сказала она однажды.

Он был весь потрясен, убеждал ее сохранить волосы этого золотого оттенка, который он так любил. И, говоря это, он взял их, ласкал рукою, опуская в них пальцы, как скупой в снова найденное богатство.

И он бормотал бессвязные слова: «Не меняй ничего... Такою я полюбил тебя! Ах! ты не знаешь, ты никогда не узнаешь, что я ощущаю, дотрагиваясь до твоих волос...»

Казалось, он хотел сказать больше, но он остановился, точно на краю пропасти откровенных признаний.

С тех пор, как она переселилась в Брюгге, он приходил к ней почти ежедневно, проводил обыкновенно у нее вечера, иногда даже ужинал, несмотря на неудовольствие Барбары, его старой служанки, которая на другой день дулась на него за то, что напрасно готовила обед и ждала его. Барбара при-творялась, будто верила тому, что он ел в ресторане, – но в глубине души испытывала недоверие и не узнавала своего хозяина, прежде столь аккуратного и необщительного.

Гюг часто отлучался, распределяя время между своим домом и домом Жанны.

Предпочтительно он посещал ее перед вечером, по усвоенной привычке выходить только после обеда; к тому же, он хотел не быть замеченным, направляясь к дому Жанны, который он намеренно избрал в пустынной местности. По отношению к себе он не испытывал в душе никакого стыда или смущения, потому что он знал мотив, военную хитрость,

скрывавшуюся в перемене образа действия и являвшуюся не только извинением, но и оправданием, реабилитацией его перед умершей женой и перед самим Богом. Но приходилось считаться с чопорной провинцией: как не ощутить небольшого беспокойства от соседства общественной вражды или уважения, когда постоянно чувствуешь на себе пристально устремленные, точно прикасающиеся к тебе взгляды?

В особенности, в этом католическом Брюгге, где нравы так суровы! Высокие колокольни, с их монашескою одеждою из камня, повсюду налагают тень. Кажется, что из бесчисленных монастырей распространяется презрение к тайным розам тела, заразительно действующее прославление чистоты. На всех углах улиц, в деревянных и стеклянных шкафчиках виднеются Мадонны в бархатных одеждах, среди бумажных поблекших цветов, держа в руках волнообразные свитки, на которых написано: «Я непорочна!»

Сильная страсть, внебрачная связь считаются здесь развратом, путем к аду, грехом против шестой и девятой заповедей, заставляющим говорить шепотом в исповедальнях и покрывающим краскою стыда кающихся грешниц.

Гюг знал эту суровость Брюгге и избегал оскорблять ее. Но в провинциальной жизни все близко соприкасается, ничто не ускользает от внимания. Он скоро вызвал к себе благочестивое презрение, не подозревая этого. Оскорбленная вера охотно высказывается в форме иронии. Так и собор смеется и дразнит дьявола масками своих водосточных

труб...

Когда разнесся слух о связи вдовца с балериной, он сделался, не подозревая об этом, баснею всего города. Все узнали об этом: толки, передававшиеся из одной двери в другую; разговор от безделья; сплетни, распространявшиеся и принимавшиеся с любопытством бегинками; трава злословия, растущая в мертвых городах на мостовой!..

Все занимались этим любовным приключением больше оттого, что знали его долгое отчаяние, его беспросветное сожаление, все его мысли, собранные и соединенные вместе в один букет на могилу умершей. Теперь вот чем оканчивался этот траур, который казался вечным!..

Все были обмануты, даже и сам бедный вдовец, введенный, конечно, в заблуждение гадкой женщиной. Все знали ее хорошо. Она прежде танцевала в театре. На нее, смеясь, показывали на улице, удивляясь немного ее тихому виду, несмотря на оставшуюся развинченную походку и золотые волосы. Всем было даже известно, где она живет и что вдовец навещает ее каждый вечер. Еще немного, и можно было бы указать часы и его путь... Любопытные жены горожан, ничего не делая после обеда, наблюдали за его прогулкой, сидя у большого окна, при помощи маленьких зеркал, известных под названием *espion* прикрепленных на всех домах к окну с наружной стороны. Косые зеркала, в которых отражаются неясные очертания прохожих, отсвечивающие ловушки, улавливающие незаметно походку тех, кто проходит ми-

мо, их жесты, улыбки, минутную мысль в их глазах и переносящие все это во внутренность домов, где кто-нибудь наблюдает.

Таким образом, благодаря измене зеркал, быстро стали известны все приходы и уходы Гюга и все подробности его отношения с Жанной. Иллюзия, которой он упорно отдавался, его наивные старания – отправляться к ней из осторожности только вечером, придали смешной оттенок этому союзу, который вначале всех возмущал, и негодование сменилось насмешками...

Гюг ничего не подозревал! Он продолжал выходить под вечер, намеренно идя обходными путями к совсем близкому предместью.

Насколько эти вечерние прогулки теперь стали менее печальными! Он проходил по городу через столетние мосты, мрачные набережные, вдоль которых вздыхает вода. Колокола вечером каждый раз звонили, возвещая о какой-нибудь заупокойной обедне, назначенной на следующий день! Ах, эти колокола, звонившие так громко, но все же, казалось, столь далекие от него, точно они звонили на других небесах...

Напрасно море крыш расстилалось перед ним: арки мостов выпускали холодные слезы, тополя на берегу воды вздрагивали, точно это была жалоба нежного безутешного источника: Гюг не чувствовал более этой грусти предметов; он более не видел сурового города, точно спеленутого бес-

численными свитками его каналов...

Город прошлого, этот мертвый Брюгге, вдовцом которого, казалось, он был, только слегка затрагивал его теперь своей меланхолией; он ходил успокоенный среди безмолвия, точно и Брюгге поднялся из своей гробницы и представлялся ему новым городом, только похожим на прежний!

И каждый вечер, когда он уходил к Жанне, он не ощущал никаких угрызений совести; ни одной минуты у него не было ощущения кошунства, великой любви, превратившейся в пародию, покинутой печали, – даже этого небольшого содрогания, пробегающего по нервам вдовы, когда она в первый раз прикалывает к своему крепу и кашемиру алую розу.

Глава VI

Гюг думал: какую необъяснимую власть заключает в себе сходство!

Оно отвечает двум противоположным требованиям человеческой природы: привычке и жажде новизны. Привычка является даже законом, самым ритмом всего существа. Гюг испытал это на себе с такою силою, что привычка решила бесповоротно его судьбу. Прожив десять лет с женщиной, всегда дорогой для него, он не мог никак отвыкнуть от нее, продолжал интересоваться отсутствующей и искать ее черты на чужих лицах.

С другой стороны, стремление к новизне также носит инстинктивный характер. Человеку надоедает владеть одним и тем же богатством. Мы наслаждаемся счастьем, как и здоровьем, только благодаря контрасту. Любовь тоже нуждается в частых переменах.

Сходство является именно тем, что соединяет, уравнивает их, сливает воедино в нашей душе. Сходство и есть линия горизонта привычки и жажды новизны.

В любви, главным образом, царит этого рода утонченное наслаждение, очарование вновь появившейся женщиной, похожей на прежнюю.

Гюг испытывал это с возрастающим наслаждением, так как одиночество и отчаяние с давних пор развили в нем та-

кие тонкие оттенки души. Разве самый его переезд в Брюгге после вдовства не происходил от прирожденного понимания желательных аналогий?

Он владел тем, что можно было бы назвать «пониманием сходства», дополнительным чувством, тонким, болезненным, связывавшим тысячью неуловимых нитей предметы между собою, соединявшим деревья паутинок, создававшим духовное общение между его душой и безутешными колокольнями.

Вот почему он избрал Брюгге, Брюгге, который покинуло море, точно сильное счастье.

Это было даже что-то феноменальное в области сходства, так как его мысль совпадала с грустью самого великого из Серых Городов.

Меланхолия этого серого оттенка улиц Брюгге, где все дни походят на день Всех Усопших! Этот серый оттенок точно создан из белых головных уборов монахинь и черной одежды священников, которые беспрестанно показываются им улицам и действуют на душу. Тайна этого серого оттенка вечного полутраура!

Повсюду, вдоль улиц, фасады изменяются до бесконечности: одни выкрашены в светло-зеленую краску или построены из поблекших, перемешанных с белым цветом, кирпичей, но сейчас же рядом другие, совсем черные, точно суровый рашкуль, сожженные офорты, темный цвет которых исправляет и восполняет соседние немного светлые тона, но в

общем это – все тот же серый оттенок, который распространяется, разливается вдоль стен, вытянутых, как набережная.

Колокольный звон представляется скорее черным: как бы покрытый ватой, развеваясь по воздуху, он доходит также в виде сероватого ропота, который тянется, передается, переливается на воде каналов.

И даже сама вода, несмотря на столько отражении – уголки голубого неба, черепицы крыш, белоснежные плавающие лебеди, зелень растущих на берегу тополей, – объединяется в виде бесцветных путей молчания.

По какому-то волшебству климата существует взаимное проникновение, непонятная химия атмосферы, которая стирает слишком яркие цвета, приводит их к мечтательному единству, к амальгаме, скорее серой дремоте.

Точно частый туман, неясный свет северного неба, гранит набережных, беспрестанные дожди, колокольный звон повлияли все вместе на цвет воздуха, подобно тому как в этом старом городе мертвый пепел времени, прах из песочных часов минувших лет положил на все свою молчаливую печать.

Вот почему Гюг захотел удалиться сюда, чтобы чувствовать, как незаметно, но верно покрываются прахом его последние стремления – под этими песчинками вечности, которая должна была создать ему серую душу оттенка города!

Теперь это понимание сходства, благодаря быстрому и почти чудодейственному изменению судьбы, еще раз влияло

на него, но совсем иначе. Как и по какому коварству рока в этом столь далеком от его первых воспоминаний появилось внезапно это лицо, которое должно было их все воскресить?

Хотя это был необыкновенный случай, но Гюг отныне отдался опьянению этого сходства Жанны с умершей женой, как прежде приходил в восторг от сходства между собою и городом.

Глава VII

Прошло уже несколько месяцев, как Гюг встретил Жанну, но ничто не нарушило той лжи, которую он переживал. Как изменилась его жизнь! Он не был больше грустен. Он не испытывал более ощущения одиночества в пустом пространстве. Жанна вернула ему его прежнюю любовь, казавшуюся навсегда далекой и невозвратной; он снова нашел ее в Жанне, как мы видим в воде совсем сходное отражение луны. Пока не произошло еще ни одного волнения, колебания от резкого ветра, которое могло бы нарушить неприкосновенность этого отражения...

Он настолько сильно продолжал поклоняться именно своей умершей жене в этом загадочном подобии, что ни на одну минуту он не подумал о нарушении верности ее культу или ее памяти. Каждое утро, как на другой день после ее кончины, он преклонялся – это были точно остановки на крестном пути любви – перед сохранившимися от нее воспоминаниями. В безмолвной тени гостиных, с наполовину открытыми ставнями, среди никогда не нарушаемого порядка мебели, он утром подолгу предавался нежному поклонению перед портретами своей жены: здесь находилась ее фотография, когда она была молоденькой девушкой, незадолго до их свадьбы; в середине панно помешалась большая пастель, зеркальное стекло которой то скрывало, то показывало ее, как

изменчивый силуэт; на маленьком столике другая фотография в почерневшей раме, портрет, снятый в последние годы жизни, где она имела уже больной вид, точно поникшая лилия. . . Гюг прикасался к ним устами и целовал их, точно это были дискос или реликвии.

Каждое утро он созерцал хрустальную шкатулку, где можно было видеть покоившиеся волосы умершей жены. Он едва поднимал крышку. Он не осмелился бы взять их или обвить ими руку. Эти волосы были священны! Они принадлежали умершей, избегли могилы, чтобы уснуть лучшим сном в этом стеклянном гробу. Но они тоже умерли, так как принадлежали умершему лицу, и никогда не надо было притрагиваться к ним. Довольно было смотреть на них, знать, что они неизменны, и быть уверенным, что они всегда налицо, так как от них, может быть, зависела жизнь дома.

Гюг оставался там долгие часы, перебирая свои воспоминания, в то время как люстра над его головой в замкнутом безмолвии комнат рассыпала из своих хрустальных дрожащих кропильниц отзвук тихой жалобы.

Затем он отправлялся к Жанне, точно это была последняя остановка его культа, к Жанне, владевшей живыми волосами умершей, к Жанне – самому сходному ее портрету. Однажды даже, чтобы обмануть себя еще большим сходством, Гюгу пришла в голову странная мысль, увлекшая его тотчас же: он сохранил от своей жены не только мелкие предметы, безделушки, портреты, он захотел все сохранить, точно она только

отсутствовала. Ничто не было потеряно, подарено или продано. Ее комната всегда была приготовлена, точно она могла вернуться, убрана и неприкосновенна, каждый год с новой зеленою священной ветвью. Ее белье находилось в целости и разложено в ящиках, полных саше, сохранявших его неизменным в его насколько пожелтевшей неподвижности. Платья, все прежние туалеты висели в шкалу – шелковые материи, лишённые движения.

Гюг иногда желал снова увидеть их, стремясь ничего не забыть, увековечить свою печаль...

Любовь, как вера, поддерживается мелкими подробностями. Однажды странное желание явилось у него, захватившее его и не уменьшавшееся, пока он его не исполнил: увидеть Жанну в одном из этих платьев, одетой, как одевалась умершая жена. Она, столь похожая на нее, прибавит к тождеству своего лица тождество одного из этих костюмов, которые он видел когда-то окаймлявшими совсем одинаковую талию. Тогда его жена точно совсем вернется!

Священная минута, когда Жанна приблизится к нему, украшенная таким образом, минута, способная уничтожить время и действительность, дать ему истинное забвение!

Раз появившись, эта идея стала навязчивой, настойчивой, постоянно напоминала о себе.

Он решился: однажды утром он позвал свою старую служанку, приказал ей принести с чердака чемодан, в который можно было бы положить некоторые из этих дорогих пла-

тьев.

– Разве вы уезжаете, сударь? – спросила старая Барбара, которая не понимала нового порядка его прежде очень замкнутой жизни, его выходов, отсутствия, его обедов вне дома, и начинала предполагать у него какие-нибудь прихоти.

Она помогла ему снять и вычистить платья, смести с них пыль, быстро поднявшуюся целыми облаками в этих долгое время неподвижных шкапах.

Он выбрал два платья, два последних, которые сделала его жена, бережно уложил их в чемодан, разглаживая юбку, расправляя складки.

Барбара ничего не понимала, но ее возмущало это раздробление платьев, до которых никто не касался. Неужели он захотел продать их? И она осмелилась прошептать: Что сказала бы бедная барыня?

Гюг взглянул на нее. Он побледнел. Неужели она отгадала? Неужели она знает?

– Что вы говорите? – спросил он.

– Я вспомнила, – отвечала старая Барбара, – что в нашей деревне, во Фландрии, если не продадут в течение недели после похорон вещи умершего, то их надо хранить всю жизнь, из страха удержать умершего в чистилище, пока не умрут все домашние.

Будьте покойны, – ответил успокоившийся Гюг. – Я не хочу ничего продавать. Ваше поверье вполне справедливо!

Барбара все же оставалась в недоумении, когда увидела,

что он, несмотря на то, что говорил, поставил чемодан на извозчика и уехал.

Гюг не знал, как сообщить Жанне свою безумную мысль; он никогда не говорил с ней о своем прошлом из чувства деликатности, стыда по отношению к умершей. – даже не сделал намека на нежное и жестокое сходство, которое он ценил в ней.

Когда вынесли чемодан, Жанна вскрикнула от радости, стала прыгать.

– Какой сюрприз! Он полон, конечно. Чем? подарками? платьями?..

– Да, платьями, – отвечал Гюг машинально.

– Ах! как ты мил! И не одно?

– Два.

– Какого цвета? Скорей! Дай взглянуть!

И она подошла, протягивая руку, спрашивая ключ.

Гюг не знал, что сказать. Он не смел говорить, боясь выдать себя, объяснить болезненное желание, которому он поддался, как человек, руководствующийся инстинктом.

Открыв чемодан, Жанна вынула платья, быстро окинула их взглядом и сказала разочарованным тоном:

– Какой плохой фасон! А этот рисунок на шелку, – как это старо, старо! Но где ты купил такие платья? А на юбке такие подборы! Их носили десять лет тому назад. Право, ты смеешься надо мной!..

Гюг был очень смущен и сконфужен; он подыскивал сло-

ва, объяснение, – не настоящее, но другое, правдоподобное. Он начинал понимать, что его идея смешна, однако он все же не мог отрешиться от нее.

Ах, пусть она. согласится! Пусть она наденет одно из этих платьев хотя бы на минуту! И эта минута, когда он увидит ее одетою, как его умершая жена, явится поистине для него пароксизмом тождества и бесконечным забвением.

Он объяснил ей тихим голосом: – Да! это – старые платья... которые он получил в наследство... платья от одной родственницы... ему хотелось пошутить... ему пришла в голову мысль увидеть ее в одном из этих старых платьев. Это было безумие, но ему так хотелось – на одну минуту!..

Жанна ничего не понимала, смеялась, повертывала платья на все стороны, рассматривала материю, богатый, немного поблекший шелк, но удивлялась этому странному немного смешному фасону, однако прежде отличавшемуся модою и изяществом... Гюг настаивал.

– Но ты найдешь меня безобразною!

Сначала пораженная этим капризом, Жанна кончила тем, что нашла очень смешным одеться в эти старые платья. Смеясь и веселясь, она скинула свой капот и с голыми руками, поправляя шемизетку корсета, пряча ее вместе с кружевами рубашки, она надела одно из тех платьев, которое было декорировано. Стоя перед зеркалом, Жанна смеялась, смотря на себя, и говорила:

– У меня вид старого портрета.

И она жеманилась, ломалась, вскочила, поднимая юбку, на стол, чтобы вполне увидеть себя, все время смеясь, задыхаясь, в то время как кончик рубашки, плохо задернутый, высовывался из-под корсажа на обнаженное тело, менее целомудренное, чем он, как бы давая понятие об ее белье...

Гюг созерцал. Эта минута, которую он в мечтах представлял себе кульминационной, высшей, казалась теперь оскверненной, пошлой. Жанне нравилась эта игра. Она хотела теперь померить другое платье и в припадке безумного веселья начала танцевать, увеличивая прыжки, вспомнив снова о хореографии.

Гюг чувствовал, как увеличивается грусть в его душе; ему казалось, что он присутствует на печальном маскараде... В первый раз ему недостаточно было одного физического сходства! Оно делало свое дело, но только в обратном направлении. Без сходства Жанна показалась бы ему только вульгарной. Благодаря сходству, она в течение одной минуты помогла ему испытать мучительное ощущение, будто он видит снова умершую жену, но подурневшую, несмотря на то, что у нее было то же лицо и то же платье, – ощущение, которое мы испытываем в дни процессий, когда вечером встречаем лиц, изображавших Мадонну и Святых Жен, еще закутанных в плащи или благочестивые туники, но уже немного пьяных, отдавшихся мистическому карнавалу, при свете фонарей, раны которых истекают кровью среди мрака.

Глава VIII

Однажды в воскресенье, в первый день Пасхи, старая Барбара узнала от своего хозяина, что он не будет дома ни обедать, ни ужинать и что она свободна до вечера. Она очень обрадовалась, так как этот отпуск совпадал с днем большого праздника, и она могла пойти в обитель бегинок, присутствовать при большой обедне и вечерней службе, провести остальное время дня у своей родственницы, сестры Розалии, занимавшей одну из главных келий в церковной ограде.

Пойти в монастырь было для Барбары одною из самых приятных, единственных в своем роде радостей! Ее там все знали. У нее было несколько подруг среди бегинок, и она мечтала, под старость, если соберет немного денег, принять самой монашеское покрывало и окончить там жизнь, как другие – столь счастливые! – которых она видела в головных уборах, закутывавших их лица, словно выточенные из старой слоновой кости.

В это мартовское утро она особенно ликовала, направляясь в сторону своей дорогой обители еще довольно бодрой походкой, в своем большом черном плаще с капюшоном, раскачивавшимся, точно колокол. Вдали колокольный звон, казалось, совпадал с ее походкой, единодушный звон приходских церквей, и среди них, каждую четверть часа, – нежная музыка игры на колоколах, ария, точно исполненная на

стеклянных клавишах...

Первые признаки весенней зелени придавали предместью деревенский вид. Барбара, более тридцати лет прожившая в городе, сохранила, как и многие другие, неизменное воспоминание о своей деревне, простую душу, которая приходит в умиление от мелкой травки и листвы.

Хорошее утро! Как она быстро шла среди яркого солнца, радуясь крику птички, аромату молодых почек в этом почти деревенском предместье, где зеленели некоторые местечки на берегу Minnewater'a – озера Любви, или, еще лучше, воды, где любят! И здесь, перед этим сонным озером, красивыми неньюфарами, точно сердцами первых причастниц, берегами, покрытыми газоном и цветочками, большими деревьями, движущимися мельницами на горизонте, Барбара еще раз поддалась иллюзии путешествия, возвращения через поля к порою своего детства...

Это была благочестивая душа, отличавшаяся тою фламандскою верою, в которой чувствуется немного испанский католицизм, тою верою, в которой угрызения совести и ужас оказываются сильнее доверия и которая заключает в себе скорее страх ада, чем тоску по небу. Эта вера не отказывалась, однако, и от любви к красивой обстановке, понимания цветов, курений, пристрастия к богатым тканям, что свойственно этой расе. Вот почему мрачный дух старой служанки заранее приходил в восторг от торжественности святых служб, когда она переходила через мост в обитель и погру-

жалась в ее мистическую глубину.

Уже здесь царила тишина, как в церкви; доносился только шум от небольших источников, впадавших в озеро, точно это был ропот молящихся уст; стены вокруг и низенькие стены, окаймляющие кельи, были белые, точно скатерть престола. Посредине густая трава росла на лужайке – в духе Ван-Эйка, – где пасся ягненок, точно это был пасхальный агнец.

Улицы, носящие имена святых, поворачивают, спутываются, удлиняются, составляя средневековое местечко, небольшой отдельный городок в городе, еще более, мертвый. Он настолько пуст, безмолвен, отличается столь заразительным молчанием, что люди ходят тихо, говорят шепотом, как будто в комнате, где есть больной.

Если случайно кто-нибудь приближается и производит шум, это кажется ненормальным, даже кощунством. Только некоторые бегинки могут ходить там как следует, легкими шагами, в этой словно заглохшей атмосфере: они не ходят, а скользят, кажутся скорее лебедями, сестрами белых лебедей, плавающих по длинным каналам.

Некоторые запоздавшие монахини поспешно проходили под деревьями площадки, в то время как Барбара направлялась в церковь, откуда доносились звуки органа и пение. Она вошла вместе с бегинками, занявшими места на скамейках с деревянными скульптурными украшениями, вытянувшихся в два ряда возле хора. Все головные уборы сливались; на их белых неподвижных крылышках отражались красные и си-

ние стекла, когда солнце освещало их. Барбара смотрела издали с завистью на коленопреклоненную группу сестер общины, невест Христа и служанок Бога, с надеждою когда-нибудь попасть в их среду...

Она села в одном из боковых притворов церкви, среди нескольких прихожан, стариков, детей, бедных семей, живущих в угасающем Бегинаже. Барбара, не умеющая читать, перебирала четки, молилась вслух, иногда взглядывала в сторону сестры Розалии, своей родственницы, занимавшей второе место после настоятельницы.

Как церковь была красива, ярко озаренная свечами! Барбара во время проскомидии купила небольшую свечу у сестры ризничей, и вскоре ее приношение горело вместе с другими.

Время от времени она следила за своей свечой, которую она узнавала среди других.

Ах! Как она была счастлива! Как нравы священники, говоря, что церковь – это дом Божий! В особенности в Бегинаже, где сестры поют на клиросе нежными голосами, точно ангелы!

Барбара не уставала слушать фисгармонию и псалмы, которые развертывались в своей ослепительной чистоте, словно красивые ткани.

Между тем, обедня кончилась, огни были погашены.

Бегинки все вместе при колыхании их головных уборов вышли, как если бы это был вылетающий рой пчел, покрыв-

ший на одну минуту зеленый сад, или удаляющиеся чайки. Барбара шла следом, хотя и на расстоянии, из скромности и почтительности, за своей родственницей, сестрой Розалией; когда она увидела, что та вошла в свой домик, она поспешила и через минуту тоже проникла туда.

Бегинки живут по нескольку в каждом домике, составляющем маленькую общину. Иногда их трое-четверо; иногда число доходит до пятнадцати или двадцати. Сестра Розалия жила с многочисленными монахинями; все сестры, когда вошла Барбара, только что вернувшись из церкви, болтали, смеялись, задавая друг другу вопросы в большой рабочей комнате. По случаю праздника корзинки с шитьем, подушки с кружевами были убраны по углам.

Некоторые монахини в небольшом садике, расположенном перед домом, рассматривали растения, цветник, окаймленный зеленым кустарником. Другие, иногда очень молодые, показывали полученные подарки.... пасхальные яйца с украшением из сахара. Барбара, немного стесняясь, следовала всюду за сестрой Розалией по комнатам, приемной, где сидели посетители, боясь остаться одной, показаться непрошеной гостьей, ожидая с некоторым беспокойством, чтобы ее позвали, как обыкновенно, обедать. А что, если на этот раз пришло слишком много родных и не хватит всем места?

Барбара успокоилась, когда сестра Розалия от имени настоятельницы пригласила ее, извиняясь, что оставляла ее од-

ну, так как была очень занята: монахини по очереди занимаются хозяйством в течение недели, и сегодня была очередь сестры Розалии.

– Мы поговорим после обеда, – прибавила она. – Тем более, что я должна сообщить вам что-то очень важное.

– Очень важное? – испуганно переспросила Барбара. Скажите мне сейчас...

– Мне некогда... сейчас...

И она убежала по коридорам, оставляя в недоумении старую служанку. Что-то очень важное?.. Что бы это могло быть? Несчастье? Но у нее ничего нет дорогого на свете, никого, кроме этой единственной родственницы.

Значит, дело касалось ее. В чем же можно было упрекнуть ее? В чем ее обвиняют? Она никого не обманула. Когда она шла к исповеди, она не знала, что сказать, в каком грехе каяться.

Барбара осталась очень встревоженной. Сестра Розалия, говоря с ней, имела столь мрачный, почти суровый вид. Рассеялось радостное настроение этого дня. Ей не хотелось более смеяться, присоединиться к группам, которые так веселились, болтали, рассматривали начатые кружева, новые рисунки для бесконечных нитей кружев.

Одна, сидя в стороне на стуле, она теперь думала о той неизвестной вещи, которую должна была сказать ей сестра Розалия.

Когда все сели за стол в длинной столовой, после об-

щей молитвы, Барбара ела мало и без всякого удовольствия, смотря на здоровых и розовых бегинок и некоторых приглашенных к этой воскресной и праздничной трапезе. В этот день подавалось вино, вино из Тура, маслянистое и золотистого оттенка. Барбара осушила стакан, который ей налили, желая утопить в нем свои заботы. У нее заболела голова.

Обед казался ей бесконечным. Когда он кончился, она побежала прямо к сестре Розалии с вопросительным взглядом. Та заметила ее волнение и сейчас же захотела успокоить ее;

– Ничего, Барбара! Не огорчайтесь, мой друг!

– В чем дело?

– Ничего!., ничего особенного. Я хочу дать вам маленький совет.

– Ах! Вы так испугали меня...

– Я говорю, теперь нет ничего особенного. Но положение может стать серьезным, и пожалуй вам придется переменить место.

– Переменить место? Почему? Пять лет уже я служу у господина Виана. Я привязана к нему; он очень несчастен и он дорожит мною. Это самый честный человек на свете.

– Ах, бедная моя, как вы наивны! Нет, это – не самый честный человек на свете.

Барбара сильно побледнела и спросила:

– Что вы говорите? Что же он сделал дурного? Сестра Розалия тогда рассказала ей ходившую по городу историю, достигшую даже тихого Бегинажа: о дурном поведении того,

кем все восхищались прежде за его печаль вдовца, столь жгучую и безутешную! Теперь он утешился, и очень дурным образом! Он посещает теперь недостойную женщину, прежде танцевавшую в театре...

Барбара дрожала; при каждом слове она подавляла внутреннюю борьбу: она благоговела перед своею родственницею, и эти очень обидные и невероятные обвинения получали в ее устах большую силу. Так вот где была причина всей этой перемены в жизни господина Виана, которую она никак не могла понять, его частых выходов, приходов и уходов, обедов вне дома, поздних возвращений, отсутствия по ночам?..

Бегинка продолжала:

– Подумали ли вы, Барбара, о том, что честная прислуга-христианка не может дольше оставаться в услужении у человека, ставшего развратником?

При этих словах Барбара вспыхнула: это было невозможно! Все это были сплетни, которые ввели в заблуждение сестру Розалию. Такой добрый человек, обожающий свою умершую жену! Он и теперь каждое утро, на ее глазах, плачет перед ее портретами, хранит ее волосы лучше всяких реликвий!..

– Я вам говорю, что это так, – спокойно отвечала сестра Розалия. – Я знаю все. Я знаю даже дом, где живет эта особа. Он находится на моем пути, когда я иду в город, и я видела несколько раз, как входил и выходил оттуда господин Виан.

Это было убедительно! Барбара казалась униженной. Она ничего не ответила, впала точно в забытие, причем у нее образовались большая складка и морщины посредине лба.

Затем она сказала эти простые слова: «я подумаю», в то время как ее родственница, призванная к исполнению своих обязанностей, на минуту отлучилась.

Старая служанка осталась пораженной, без сил, с перепутавшимися мыслями, узнав эту новость, шедшую в разрез с ее надеждами, разрушавшую все ее будущее.

Во-первых, она привыкла к своему хозяину и оставит его не без сожаления.

Затем, как найти другое место, столь хорошее, легкое? Здесь она могла, ведя хозяйство старого холостяка, делать известные сбережения, собирать небольшой залог, необходимый, чтобы закончить свои дни в Бегинаже. Между тем сестра Розалия была права! Она не может служить больше у человека, который смущает своим поведением ближнего.

Она знала, что нельзя служить у неверующих, которые не молятся, не придерживаются законов церкви, не соблюдают поста. То же правило существует и относительно развратных лиц... Они совершают еще худший грех, тот, за который священники в проповедях и во время вечерних служб грозят всего более адским пламенем... Барбара отгоняла быстро от себя даже отдаленные видения сладострастия, при одном имени которого она крестилась.

На что же решиться? Барбара чувствовала смущение в

продолжение всех служб и торжественной вечерней молитвы, для которой она вернулась вместе с другими в церковь. Она просила св. Духа просветить ее, и ее молитвы были услышаны, так как, выходя из церкви, она приняла решение.

Так как этот вопрос был очень затруднителен и разрешение его было ей не по силам, она отправилась к своему обычному духовнику, в церкви Notre-Damme, и послушно последовала его указанию.

Духовник, которому она все рассказала, все, что узнала, и который знал много лет эту простую и прямую натуру, старался успокоить ее, заставил дать ее обещание, что она не примет никаких резких мер; даже если то, что говорили об ее хозяйине, – правда, и у него есть преступные связи, нужно все же делать известное различие: пока свидания происходят вне дома, она может не знать о них, во всяком случае, – не придавать значения; если же, к несчастью, дурная женщина, о которой идет речь, придет в дом ее хозяина, например, будет обедать у него, – она не может тогда оставаться соучастницей разврата и должна оставить место и уйти...

Барбара попросила дважды повторить ей это решение; затем, наконец, уразумев его, она вышла из исповедалини, покинула церковь после короткой молитвы, направилась в сторону *quai du Rosaire*, к дому, из которого она утром ушла счастливая и который она должна была покинуть (она предчувствовала это) рано или поздно...

Ах! Как трудно радоваться долго!.. И она возвращалась по

мертвым улицам, сожалея о зеленом предместье на заре, об обеде, светлых псалмах, о всех предметах, на которые двигалась теперь ночь; она думала о близком отъезде о новых лицах, о своем хозяине, находившемся в состоянии смертного греха, – и она думала о себе самой, отныне лишенной надежды окончить свою жизнь в обители сознавая, что ей суждено умереть в одиночестве, вечером в больнице, окна которой выходят на канал...

Глава IX

Гюг ощутил полное разочарование после того дня, как у него явилась эта странная прихоть – одеть Жанну в одно из сохранившихся от умершей платьев. Он перешел границы! Желая вполне слить двух женщин, он уменьшил сходство между ними. Пока они находились на расстоянии одна от другой, разделенные туманом смерти, самообман еще был возможен. Но когда они слишком сблизились, то обнаружилась разница.

Вначале, когда он был очарован тем, что снова нашел дорогое лицо, радостное волнение вполне овладело им; затем мало-помалу, желая провести параллель и в мелких деталях, он начал мучиться от несходных нюансов...

Сходство чувствуется всегда только в общих линиях и в ансамбле. Если мы вникнем в детали, чувствуется во всем разница! Но Гюг не замечал, что он сам стал смотреть по-другому, делая свои сравнения более тщательно, и приписывал всю вину Жанне, думая, что она сама изменилась!

Конечно, у нее были все те же глаза. Но, если глаза являются отражением души, значит, в них отражалась теперь не та душа, которая чувствовалась во взоре умершей. Жанна, прежде нежная и сдержанная, мало-помалу распускалась. У нее снова проявлялся отпечаток кулис и театра. Постепенное сближение вернуло ей свободу в обращении, шумную ве-

селость, вольности речи, прежнюю привычку к небрежному туалету, беспорядочности капота и непричесанным волосам, когда она целый день сидела дома. Светские привычки Гюга оскорблялись этим. Однако он продолжал ходить к ней, стремясь снова овладеть ускользавшим от него миражем. Медленные часы! Грустные вечера! Ему был необходим этот голос. Он еще упивался его глубоким потоком. В то же время он страдал от высказываемых ею слов...

Жанна, в свою очередь, утомлялась его мрачным настроением духа, его долгим молчанием. Теперь, когда он приходил под вечер, она еще не возвращалась домой, опаздывая из-за своих прогулок по городу, покупок в магазинах, примерки платьев. Он приходил также повидаться с ней в другое время, днем, утром или после обеда. Часто ее не было дома, так как она скучала у себя, постоянно бегала по улицам.

Куда ходила она? Гюг знал, что у нее не было подруг. Он ждал ее; он не любил оставаться один, предпочитал гулять по окрестностям, пока она вернется. Беспokoясь, грустя, избегая чужих взглядов, он шел без цели, наудачу, с одного тротуара на другой, достигал ближних набережных, блуждая вдоль воды, выходя на площади, точно опечаленный жалобой деревьев, устремляясь в бесконечный лабиринт серых улиц.

Ах, этот постоянный серый оттенок брюжских улиц!

Гюг чувствовал все сильнее в своей душе этот серый оттенок. На него сильно действовало это глубокое безмолвие,

эта пустынность: только иногда он встречал нескольких старух, в черных платках, с капюшоном на голове, бродивших точно тени, возвращаясь из часовни Св. Крови, где они ставили свечи. Любопытная вещь: нигде нет столько старух, как в древних городах. Они блуждают – с лицами оттенка земли – старые и молчаливые, точно они истощили весь запас слов... Гюг едва замечал их, идя наугад, слишком занятый своим старым горем и новыми заботами. Машинально он снова подходил к дому Жанны. Опять никого!

Он опять начинал блуждать, колебался, поворачивал в пустынные, улицы и невольно подходил к *quai du Rosaire*. Тогда он решал вернуться к себе; он отправится к Жанне позднее, вечером; он сел в кресло, пробовал читать; затем, через минуту, погружаясь в одиночество, охваченный холодным безмолвием своих длинных коридоров, он выходил опять.

Вечер... моросит мелкий дождик, который усиливается, ранит ему душу... Гюг чувствовал, что он снова охвачен, увлечен лицом Жанны, что его тянет к ее дому; он шел, приближался, снова шел назад, по своему пути, вдруг почувствовав потребность в уединении, испугавшись той мысли, что теперь она дома, ждет его, и не желая ее видеть.

Ускорив шаги, он шел по обратному направлению, выбирая древние кварталы, блуждая без цели, потерянный, несчастный, среди грязи. Дождь усиливался, увеличивая свои нити, запутывая свою паутину, делая петли всё уже. точно неуловимую и мокрую сеть, куда попадал мало-пома-

ду Гюг. Он начинал снова вспоминать. Он думал о Жанне. Что делает она теперь на улице, в такую безотрадную погоду? Он думал и об умершей... Что теперь с ней? Ах, ее бедная могила... венки и обветшалые цветы под этим проливным дождем... А колокола звонили, такие тихие, такие далекие! Как далек был город! Можно было бы подумать, что и он, в свою очередь, не существует больше, растворился, потонул, погрузился в дожде, охватившем его со всех сторон... Сходная грусть! В память мертвого Брюгге с самых высоких колоколен раздавался печальный звон!

Глава X

По мере того как Гюг чувствовал, что его трогательный обман ускользает от него, он все более возвращался к городу, сливая с ним свою душу, изоцряясь в этой другой параллели, которую еще раньше – в первое время своего вдовства и приезда в Брюгге он наполнял свою печаль. Теперь, когда Жанна перестала напоминать ему умершую жену, он сам стал походить на город. Он хорошо это чувствовал во время своих однообразных и продолжительных прогулок по пустынным улицам.

Иногда ему становилось тяжело оставаться дома, он пугался одиночества своего жилища, ветра, рыдающего в трубах, многочисленных воспоминаний, окружавших его, точно пристально смотрящие глаза. Он гулял почти целый день, без цели, ничего не делая, неуверенный в Жанне и в своем собственном чувстве к ней.

Любил ли он ее на самом деле? А она сама, скрывала ли она равнодушие к нему или измену? Неясные сомнения! Грустные, короткие зимние сумерки! Сгущающийся туман! Он чувствовал, что туман проникал в его душу, и все его ясные мысли тонули в этой серой летаргии.

Ах! этот Брюгге в зимний вечер!

Влияние города на него снова проявлялось: урок молчания, исходящий от неподвижных каналов, тишина кото-

рых вознаграждается присутствием благородных лебедей; пример отречения, подаваемый молчаливыми набережными; в особенности совет – благочестия и строгости, падавший с высоких колоколен! Notre-Damme и St. Sauveur, всегда находящихся на краю горизонта... Он инстинктивно поднял к ним глаза, точно искал прибежища; но башни пренебрегали его несчастною любовью. Они, казалось, говорили: «Взгляни на нас! Мы живем только верою! Печальные, без всякой скульптурной улыбки, с видом воздушных крепостей, мы поднимаемся к Богу. Мы – воинствующие колокольни! Злой дух истощил все свои стрелы против нас».

О, да! Гюг желал бы походить на них. Быть только башнею, выше жизни! Но он не мог похвастаться как брюжские колокольни, что победил искушение дьявола. Напротив, можно было бы сказать, что охватившая его страсть, от которой он страдал, как от беснования, была делом дьявола.

Ему приходили на память истории из области сатанизма, прочитанные книги. Не было ли в этом случае какого-нибудь основания для этого страха тайных сил и колдовства?

Не было ли это следствие из какого-нибудь условия, написанного кровью, которое должно было завершиться кровавой драмой? Временами Гюг чувствовал точно тень Смерти, приближавшейся к нему.

Ему хотелось избегнуть Смерти, победить ее пересилить с помощью этого исключительного сходства. Может быть, теперь Смерть мстила за себя.

Но он мог еще избавиться, спасти свою душу вовремя! И, блуждая по кварталам великого мистического города, он поднимал глаза к сострадательным колокольням, к утешению колоколов, милосердному призыву Мадонн, которые на углу каждой улицы простирали руки из глубины ниши, скрываясь под стеклом, среди свечей и роз, точно мертвых цветов в стеклянном гробу.

Да, он будет спасен от гибельного ига! Он одумался. Он стал расстригою печали. Но он покается! Он сделается тем, чем был. Он уже снова напоминал город. Он чувствовал себя братом по безмолвию и меланхолии этого печального Брюгге, который был его *sogor dolorosa*. Ах, как он хорошо сделал, что вернулся сюда в пору своего глубокого траура! Немые аналогии! Взаимное проникновение предметов и души! Душа входит в предметы, и предметы проникают в душу.

Города, к тому же, являются личностью, отличаются независимым духом, ясно проявляющимся характером, который соответствует радости новой любви, отречению, вдовству. Всякий город кажется душевным настроением, и это настроение, после мимолетного пребывания в нем, сообщается нашей душе, проникает в нее точно жидкость, которую мы воспринимаем вместе с оттенком воздуха.

Гюг с самого начала ощутил это бледное, нежное влияние Брюгге, и благодаря ему предавался исключительно воспоминаниям, отрицал надежду, ждал доброй смерти...

И теперь еще, несмотря на его настоящие тревоги, его пе-

чаль немного растворялась вечером, возле длинных каналов спокойной воды, и он старался вновь стать образом и подобием города.

Глава XI

Город прежде всего имеет вид верующего. Советы веры и отречения исходят от него, от его больничных и монастырских стен, постоянно попадающихся церквей, точно стоящих па коленах, в каменных стихарях. Город начинал снова руководить Гюгом, требовать от него послушания. Он стал личностью, первым советчиком в жизни, который влияет, убеждает, указывает, как поступить и что делать.

Гюг снова почувствовал себя побежденным этим мистическим видом города, так как теперь его не занимали очертания тела и обман женщины. Он меньше слушал женщину и от этого сильнее прислушивался к колоколам!

Колокола, бесчисленные и всегда неутомимые во время его вечерних прогулок, так как во время приступов грусти он опять бесцельно блуждал теперь вечером вдоль каналов...

Ему причиняли боль эти постоянные колокола, – звон к заупокойной обедне, реквиему, поминальным службам на тридцатый день, звон к утрене и вечерне – целый день раскачивающие свои черные невидимые кадельницы, откуда исходил точно дым звуков.

Ах, эти беспрестанные звуки колоколов в Брюгге, эта бесконечная заупокойная обедня, раздающаяся в воздухе! С какою силою они порождают отвращение к жизни, ясно указывают на тщетность всего земного, вызывают предчувствие

приближающейся смерти...

В пустынных улицах, где редко мерцает фонарь, показывалось иногда несколько силуэтов женщин из народа в длинных суконных плащах, черных, как бронзовые колокола, расквашивавшихся, подобно им. Параллельно колокола и плащи, казалось, двигались к церкви по одному и тому же пути...

Гюг чувствовал, что ему незаметно дают совет. Он был захвачен течением. На него снова подействовало окружающее благочестие. Влияние, скрытая воля предметов, в свою очередь, влекли его к сосредоточенному настроению древних храмов.

Как прежде, он снова любил посещать их вечером, в особенности St. Sauveur, с его большими плитами из черного мрамора, пышными хорами, откуда иногда раздается, словно разливается потоком, музыка...

Эта музыка была обширна, она падала точно ручей на плиты, можно было бы подумать, что она топит, стирает покрытые пылью надписи на могильных плитах и медных досках, которыми повсюду усеяна базилика. Можно было бы сказать, что там все ходят окруженные смертью.

И ничто – ни покрытые живописью стекла, ни бессмертные чудесные картины Пурбюса, Ван-Орлэ, Эразма Келлэна, Крейера, Сегера с гирляндами никогда не вянущих тюльпанов – ничто не могло умиротворить погребальную грусть этого храма. Даже в триптихах и престольных образах он едва замечал феерию красок и увековеченную мечту древних

художников, и с еще большей меланхолией думал о смерти, видя на боковых частях изображение жертвователя со сложенными руками и жертвовательницы с глазами точно из сердолика, от которых остались только эти портреты! Тогда он снова вызывал в своем воображении умершую жену.

Он не хотел думать о живой женщине, об этой нечистой Жанне, образ которой он оставлял за церковной дверью, — и мечтал, что стоит с ней коленопреклонный перед Богом, подобно благочестивым жертвователям на старинных картинах.

Гюг во время приступов мистицизма полюбил также уединяться в маленькой, безмолвной Иерусалимской часовне. Куда преимущественно направляются при заходе солнца женщины в плащах... Он входил за ними: потолок очень низкий, как в подземной церкви... В глубине этой часовни, выстроенной для поклонения ранам Спасителя, изображен Христос в натуральную величину, Христос в гробу, в саване из тонкого кружева. Женщины в плащах зажигали небольшие свечи, затем уходили скользящими шагами. Свечи точно истекали кровью. Можно было бы подумать во мраке, что это были стигматы Христа, которые снова раскрывались, чтобы омыть кровью грехи тех, кто приходил туда.

Среди своих паломничеств по городу Гюг больше всего любил заходить в больницу St. Jean, где жил божественный Мемлинг, оставивший там благочестивые шедевры, чтобы сохранить на протяжении веков ясность своих мечтаний, ко-

гда он стал выздоравливать.

Гюг ходил туда с надеждой излечиться, омыть свои лихорадочные глаза в этих белых стенах. Великий катехизис покоя!

Внутренние сады, окруженные зеленью; комнаты больных, совсем далекие, где говорят шепотом. Проходит несколько монахинь, едва нарушая безмолвие, подобно тому как лебеди на каналах едва изменяют течение воды. В воздухе запах сырого белья, головных уборов, намоченных дождем, скатертей алтаря, вынутых из древних шкапов...

Наконец, Гюг проникал в святое святых искусства, где находятся чудесные картины, где сияет знаменитая рака святой Урсулы, точно небольшая золотая готическая часовня, развертывая с каждой стороны, на трех панно, историю одиннадцати тысяч дев; в эмалированном металле крышки, в тонких, как миниатюры, медальонах видны ангелы-музыканты, со скрипками оттенка их волос и арфами, имеющими форму их крыльев. Таким образом, мученичество сопровождается как бы нарисованною музыкою! Как бесконечно трогательна эта смерть девушек, стоящих, точно группа азалий, на галерее, которая станет их могилой! Солдаты находятся на берегу. Они уже приступили к убийству; Урсула и ее подруги вышли на берег. Кровь течет, – но такая розовая! Раны кажутся лепестками; кровь не капает, а слетает, падает листочками из груди...

Девы имеют счастливый и совсем спокойный вид, отражая

свою смелость в блестящем, как зеркало, вооружении солдата. И самый лук, приносящий смерть, кажется им нежным, как серп луны!..

Благодаря этим утонченностям, художник выразил ту мысль, что агония для дев, полных веры, являлась только переменою, испытанием, покорно принятым ими ввиду очень близкой радости... Вот почему покой, царивший уже в них, распространился даже на пейзаж, наполнив его как бы своим отражением.

Переходная минута – это не убийство, а, скорее, апофеоз; капли крови начинают твердеть, превращаясь в рубины для вечных диадем, и над орошенной землею раскрывается небо, – его свет заметен, притягивает к себе...

Ангельское толкование мученичества! Райское видение художника, столь же благочестивого, сколько и гениального!

Гюг приходил в восторг. Он думал о вере фламандских художников, оставивших нам точно нарисованные по обету картины, писавших так, как другие молятся!

Таким образом, все эти зрелища: произведения искусства, золотая чеканная работа, архитектура, дома, имеющие вид монастырей, остроконечные крыши в форме митр, улицы, украшенные Мадоннами, ветер, полный колокольного звона, – подавали Гюгу пример благочестия и строгости, возбуждали в нем католицизм, окрепший в воздухе и камнях.

В то же время ему приходило на память его благочестивое детство, и он ощущал тоску по чистоте души. Он чувствовал

себя немного виноватым и по отношению к Богу, и по отношению к умершей. Понятие греха снова появилось, показывалось...

В особенности с той минуты, как он в воскресенье вечером, случайно войдя в собор во время службы, чтобы послушать молитвы и орган, застал конец проповеди.

Священник говорил о смерти. Как избрать другой сюжет в этом мрачном городе, где он напрашивается сам собою, настаивает и, так сказать, обвивает кафедру своими черными виноградными кистями, доходя до руки проповедника, которому остается только сорвать их? О чем говорить, как не о том, что везде разлито в воздухе: о неизбежной смерти! И как не углубляться в ту мысль, что нужно спасти душу, раз эта мысль является здесь существенною заботою и постоянным опасением совести!..

Священник, говоря о смерти – о доброй смерти, являющейся только переходом к другой жизни – и о соединении спасшихся в Боге душ, говорил также и о грехе, губительном смертном грехе, т. е. том, который приводит к настоящей смерти, без освобождения и встречи с дорогими существами!

Гюг слушал не без некоторого волнения, стоя у колонны. Большая церковь имела мрачный вид, едва освещенная несколькими свечами и лампами; прихожане казались черною массою, почти потонувшею во мраке. Ему представлялось, что он был один и что священник обращался к нему,

говорил с ним. Случайно – или это было плодом его впечатлительного воображения – как будто его судьба разбиралась в этой речи. Да, он был охвачен грехом! Он напрасно обманывал себя насчет своей преступной любви и ссылался в свое оправдание на сходство. Тело играло здесь главную роль. Он совершал то, что всегда сурово осуждала Церковь: он имел незаконную связь.

Если религия говорит истину, если христиане, спасаясь, снова встречаются в будущей жизни, то он никогда не увидит той святой, о которой скорбел, так как желал не ее одну. Смерть только увековечит разлуку, освятит навсегда то, что он считал временным. После смерти, как и теперь, он будет жить вдали от нее; и его вечной пыткой будут всегда тщетные воспоминания о ней.

Гюг вышел из церкви в сильном волнении. С этого дня мысль о грехе мучила его, охватывала, точно вколачивала свой гвоздь. Он очень хотел бы избавиться от нее, очиститься от своего греха. Ему пришла в голову мысль исповедаться, чтобы смягчить разлуку, тревогу души. Но надо было покаяться, переменить жизнь; между тем, несмотря на неприятности, ежедневные огорчения, он не чувствовал в себе сил покинуть Жанну и снова начать жить одиноко.

Однако город, с своим видом верующего, упрекал, настаивал. Он противопоставлял свою сооственную непорочность, свою твердую веру...

Теперь колокола точно были в заговоре, когда он блуждал

вечером с возрастающей тревогою, мукою от любви к Жанне, сожалением об умершей, страхом своего греха и возможного осуждения навеки... Колокола убеждали его сначала дружески, давая советы; но вскоре, неудовлетворенные, они начинали бранить его – видимые и заметные вокруг него, как вороны вокруг башен, – словно подталкивая его, захватывая его голову, оказывая на него давление, чтобы избавить его от несчастной любви, чтобы вырвать его из власти греха!

Глава XII

Гюг страдал; с каждым днем все более проявлялась разница в отдельных подробностях сходства. Даже с физической стороны, не было больше возможности предаваться иллюзии. Лицо Жанны приняло несколько сердитое или утомленное выражение, под глазами легла складка, бросавшая тень на ее похожие на перламутр глаза. Ей пришла снова фантазия, как во время ее службы в театре, пудрить щеки, красить губы, подводить глаза.

Гюг тщетно пробовал убедить ее не краситься, так как это не подходило к тому естественному и чистому лицу, о котором он помнил. Жанна иронически смеялась, жестокая, раздраженная. Моментально он вспомнил тогда нежное обращение умершей, ее ровное настроение. Ее благородные и добрые слова, словно слетавшие с уст. Десять лет совместной жизни, без всякой ссоры, без этих жестоких слов, поднимающихся, как тина, из глубины нарушенного покоя души!

Разница между двумя женщинами теперь проявлялась с каждым днем все резче. Ах, нет, умершая была не такая! Это сознание удручало его. уничтожая то, что он считал извинением этого любовного приключения, несчастный исход которого был очевиден; он чувствовал смущение, почти стыд: он не смел больше думать о той, которую так оплакивал и по отношению к которой он начинал чувствовать себя вино-

ватым.

В те комнаты, где была увековечена ее память, он почти не входил, волнуясь, смущаясь от взгляда ее портретов – можно было бы подумать – взгляда, полного упреков... Волосы продолжали покоиться в стеклянном ящике, почти заброшенные, и пыль покрывала их своим серым пеплом.

Более чем когда-либо он чувствовал, как душа его страдает и мучится: он выходил, возвращался, снова выходил, точно гонимый от своего дома к дому Жанны, то привлеченный ее лицом, когда был вдали от нее, то чувствуя сожаление, угрызение совести, презрение к себе самому, когда находился с ней.

Его жизнь протекала в беспорядке; не было ничего пунктуального, правильно устроенного. Он отдавал приказания, затем отменял их; он изменял время обеда. Старая Барбара не знала, как ей исполнять свою обязанность, запастись провизией. Грустная, беспокойная, она молилась Богу за своего хозяина, зная причину всего...

Часто приносили счета из магазинов с требованием уплатить огромные суммы за покупки, сделанные этой женщиной. Барбара, принимавшая их в отсутствие своего хозяина, поражалась: бесконечные туалеты, наряды, разорительные драгоценности, всевозможные предметы, которые Жанна брала в долг, пользуясь и злоупотребляя именем своего любовника, в магазинах, где она без конца покупала, с мотовством, смеющимся над расходом.

Гюг уступал всем ее капризам. Однако она отнюдь не была благодарна за это. Все более и более она учащала свои выходы, иногда отсутствуя целый день и вечер; она откладывала свидания, назначенные Гюгу, наскоро написав ему.

Теперь она уверяла, что завела знакомства. У нее были подруги. Разве она могла жить всегда в таком одиночестве? Однажды она сказала ему, что ее сестра, жившая в Лилле, о которой она прежде не упоминала, заболела. Она захотела повидаться с ней. Она отсутствовала несколько дней. Когда она вернулась, начались снова те же приемы: рассеянная жизнь, отлучки, точно веяние веера, прилив и отлив в судьбе Гюга...

В конце концов в его душу закралось подозрение; он стал следить за ней: он отправлялся вечером бродить вокруг ее дома, точно ночной призрак в уснувшем Брюгге. Он познал скрытый надзор, поспешные остановки, порывистые звонки, теряющиеся в молчаливых коридорах, бодрствование на свежем воздухе до поздней ночи перед освещенным окном, экраном шторы, на которой китайскою тенью мелькает силуэт фигуры, причем каждую минуту кажется, что в действительности их два!

Дело шло не об умершей: очарование Жанны мало помалу околдовало его. и он боялся потерять ее. Не только ее лицо, но ее тело, ее жгучая внешность привлекали его ночью, хотя он видел только ее тень, скользившую по складкам занавесок... Да! он любил ее саму, так как ревновал ее до бо-

ли, до слез, когда он сторожил вечером, среди полночного колокольного звона, мелкого дождя, непрерывного на севере, где облака постоянно переходят в изморось.

Он оставался наблюдать, проходя взад и вперед по небольшому пространству, как по внутреннему двору, громко и бессвязно разговаривал как лунатик, несмотря на возрастающий дождь, тающий снег, грязь, покрытое облаками небо, конец зимы, всю безутешную тоску вещей...

Ему хотелось бы знать, убедиться, видеть... Ах, какая мука! Какова же была душа у этой женщины, причинившей ему столько зла, между тем как та умершая – такая добрая! – казалось, в эти минуты его высшего отчаяния, вырисовывалась среди ночного мрака, смотрела на него милосердным взглядом луны.

Гюг больше не обманывал себя; он изловил Жанну во лжи, собрал улики; вскоре он понял все, когда вдруг посыпались к нему по обыкновению, принятому в провинциальных городах, письма, анонимные послания, полные оскорблений, иронии, подробностей измены, беспорядочной жизни, о которой он уже подозревал...

Ему называли имена, представляли доказательства. Вот конец связи с женщиной, случайно встреченной, к которому причина, столь понятная вначале, привела его! Что касается ее, он прекратит все; вот и конец! Но как исправить свое собственное падение, свой траур, ставший смешным, свой священный культ и свое искреннее отчаяние, сделавшееся

предметом публичного посмеяния?

Гюг приходил в отчаяние. С Жанной все кончалось для него, точно его умершая умирала во второй раз. Ах, сколько он перенес от этой капризной, изменчивой женщины!

Он отправился к ней в последний раз вечером, чтобы разойтись, избавиться от тяжести печали, накопившейся в его душе, по ее вине.

Не сердясь, с бесконечною грустью, он рассказал ей, что ему все известно, и, так как она приняла это свысока, со злобою, с вызывающим видом: «что? что ты говоришь?» – он показал ей доносы, позорные письма...

– Ты настолько глуп, что веришь анонимным письмам? – И она залилась жестоким смехом, показывая свои белые зубы, точно созданные для добычи.

Гюг заметил:

– Ваши собственные приемы убедили меня в этом. Жанна, рассердившись, ходила взад и вперед, хлопала дверьми, рассекала воздух движениями своей юбки:

– Ну, хорошо, если это и правда! – воскликнула она. Затем через минуту она прибавила:

– Впрочем, мне надоело жить здесь, я хочу уехать. Гюг во время ее разговора смотрел на нее. При освещении ламп он снова увидел ее светлое лицо, ее черные глаза, ее волосы фальшивого и искусственного золотого оттенка, столь же фальшивого, как и ее сердце, и ее любовь. Нет! Это не было лицо умершей; но в пеньюаре, с трепещущей шейкой, это

была женщина, которая ему принадлежала; и, когда он услышал ее крик: «Я еду!» – вся его душа содрогнулась, погрузилась в глубокий мрак...

В эту торжественную минуту он почувствовал, что наряду с иллюзией миража и сходства он любил ее страстную любовь: это была запоздавшая страсть, грустный октябрь, очарованный случайно распустившимися розами!

Все его мысли смешались в голове; он сознавал только одно, что он перестанет страдать, если Жанна не будет грозить уехать. Какова бы она ни была, он жаждал ее. В душе ему было стыдно за свою слабость, но он не мог бы жить без нее... К тому же, – кто знает! – люди так злы... Она не хотела даже оправдываться. И он был охвачен сильною грустью перед этим завершением мечты, конец которой он предчувствовал (разрыв в любви – подобно смерти, так как люди прощаются навсегда). Но в этот момент его приводила в отчаяние не только разлука с Жанной, точно гибель зеркала с отражением: он в особенности ощутил ужас при мысли остаться снова одному лицом к лицу с городом, не имея никого между ним и городом. Разумеется, он сам избрал этот неизменный Брюгге с его серой меланхолией. Но тяжесть от тени башен была слишком велика! Жанна приучила его к тому, что она облегчала ему отчасти эту тяжесть. Теперь он будет всецело выносить ее сам. Он останется один во власти колоколов. Еще более одинокий, точно испытал вторичное вдовство! Город покажется ему еще более мертвым.

Гюг, теряя голову, бросился к Жанне, схватил ее руку и стал умолять: «Останься! останься! я был безумцем...» – нежным голосом, омоченным слезами, точно его душа также плакала.

В этот вечер, возвращаясь вдоль каналов, он ощущал беспокойство, предчувствуя неизвестную опасность. Мрачные мысли охватили его. Ему представлялась умершая жена.

Она, казалось, возвращалась, скользила вдали, закутанная в саван среди тумана. Гюг чувствовал себя более, чем когда-либо, виноватым по отношению к ней. Вдруг поднялся ветер. Тополя на берегу словно жаловались. На канале, вдоль которого он проходил, тревожно задвигались лебеди, эти прекрасные вековые лебеди, сошедшие, как говорится в одной легенде, с герба, причем город был осужден содержать их бесконечно, лебеди – искупители смерти одного невинно убитого вельможи, имевшего их на своем гербе.

Лебеди, обыкновенно такие тихие и белые, волновались, возмущая воду канала, впечатлительные, лихорадочно возбужденные, вокруг одного товарища, который бил крыльями по воде и, опираясь на них, поднимался над водою, как больной волнуется, желая встать с постели.

Лебедь, казалось, страдал: он временами кричал; затем, сделав усилие, он поднялся над водою, и его крик, благодаря отдалению, казался мягче и нежнее; это был голос раненого существа, почти человеческий, настоящее пение с модуляциями...

Гюг смотрел, слушал, потрясенный этою таинственной сценою. Он вспомнил народное поверье. Да, лебедь пел! Он, значит, должен был умереть, или, по крайней мере, чувствовал смерть в воздухе!

Гюг задрожал. Неужели это было для него дурным предзнаменованием? Жестокая сцена с Жанной, ее угроза уехать подготовили его к этим дурным предчувствиям. Что же еще должно было окончиться в его жизни? Какой траур развешивала для него суеверная ночь? Чьим вдовцом ему снова суждено было сделаться?

Глава XIII

Жанна воспользовалась его тревогою. Она поняла своим чутьем авантюристки, какую власть имела над этим человеком, настолько привязанным к ней, что она могла делать с ним, что хотела.

Несколькими словами она успокоила его окончательно, снова победила, выставила себя невинной в его глазах, оказалась опять на высоте. Она поняла, что в его годы, перенеся столько горя, будучи таким больным, как он, так изменившись за эти последние месяцы, Гюг не проживет долго. Его считали богатым; он был чужим и одиноким в этом городе, не имел знакомых. Какое безумие было бы выпустить это наследство, которое ей так легко было бы получить!

Жанна немного приутихла, сделала свои отлучки более редкими и правдоподобными, предавалась приключениям только с осторожностью.

Ей пришло желание посетить однажды дом Гюга, этот обширный и древний дом на *quai du Rosaire*, с виду богатый, с непроницаемыми кружевными занавесками, точно татуировкой из инея на стекле, не допускающей ничего узнать о том, что делается внутри.

Жанне очень хотелось проникнуть к нему, определить по его роскоши возможное богатство, взвесить его мебель, его серебро, драгоценности, все, чего она жаждала, сделать мыс-

ленно список вещей, могущих повлиять на ее решение.

Но Гюг никогда не соглашался принять ее.

Жанна сделалась особенно ласкова. В их отношениях все обновилось, точно приняло нежную и розовую окраску. Как раз представился хороший случай: был май месяц: в следующей понедельник должна была состояться процессия Св. Крови, происходящая раз в год в продолжение целых веков, – вынос раки, сохраняющей каплю крови от раны, нанесенной копьем.

Процессия должна была пройти по *quai du Rosaire*, мимо окон Гюга. Жанна никогда не видала знаменитой процессии и делала вид, что интересуется ею. Процессия не пройдет мимо ее слишком отдаленного дома; а как увидеть ее на улицах, когда в тот день их наполняет толпа, стекающаяся со всей Фландрии?

– Скажи, хочешь, – я приду к тебе? Мы вместе пообедаем...

Гюг отказывался, ссылаясь на соседей, прислугу, которая любит болтать.

– Я приду рано, когда все спят.

Он беспокоился также, думая о Барбаре, очень щепетильной и набожной, которая примет ее за посланницу дьявола.

Но Жанна настаивала: Скажи, это решено?

Ее голос был ласков: это был голос начала любви, голос искушения, заметный у всех женщин в некоторые минуты, голос хрустальный, певучий, который расширяется, превра-

щается в водоворот, куда попадает мужчина, запутываясь и отдаваясь во власть женщины.

Глава XIV

В этот понедельник Барбара встала очень рано, раньше, чем обыкновенно, так как в ее распоряжении была только часть утра для убранства дома до появления процессии.

Она отправилась к ранней обедне в половине шестого, благочестиво приобщилась, затем, вернувшись, начала свои приготовления. Были вынуты серебряные подсвечники из шкапов, маленькие вазы, конфорки, где должен был куриться ладан. Барбара вытирала каждый предмет, чтобы сделать металл блестящим, как зеркало. Она достала также тонкие скатерти для небольших столиков, которые она поместила перед каждым окном, нечто вроде алтарей, изящных майских алтарей, со свечами вокруг распятия или статуэтки Мадонны...

Надо было подумать и о внешнем убранстве, так как в этот день все соперничают в благочестивом рвении. Уже были прикреплены на доме, по обычаю, сосновые ветки темно-зеленого, точно бронзового, цвета, которые разносятся крестьянами из двери в дверь и составляют вдоль улиц двойной ряд деревьев, словно ограду.

Барбара раскладывала на балконе ткани панских цветов, белые ткани, целое убранство из целомудренных складок. Она ходила взад и вперед, быстрая, занятая, благочестиво настроенная, дотрагиваясь с уважением до этих употреб-

лявшихся каждый год предметов убранства, точно им была свойственна частица святости культа, точно они были освящены пальцами священников, елеем и святой водой.

Ей оставалось наполнить корзины зеленью и срезанными цветами – точно подвижная мозаика, рассыпанный ковер, которым прислуга в момент процессии покрывает улицу перед своим домом! Барбара торопилась, немного опьяненная ароматом шток-роз, больших лилий, маргариток, шалфея, пахучих розмаринов, тростника, которые она связывала в небольшие букетики. И ее рука погружалась в корзины, наполняясь цветами, освеженная этим убийством венчиков, – как бы свежей ваты, пуха мертвых крыльев.

Через открытые окна доносился все возрастающий концерт приходских колоколов, раскачивавшихся один за другим.

Погода была серая, один из тех неясных майских дней, когда, несмотря на облака, чувствуется в небе скрытая радость. Из-за прозрачного воздуха, в котором можно было отгадать ближние колокола, на нее нисходила радость; столетние истомленные колокола, точно ходившие на костылях предки, колокола монастырей, древних башен, те, которые остаются скрытыми, большими, безмолвными целый год, теперь шествуют и принимают участие в день процессии Св. Крови – все колокола, казалось, имели сверх своих бронзовых одежд праздничные белые стихари, ткани, сложенные в виде веера. Барбара слушала звон огромного соборного

колокола, звонившего только по большим праздникам, медленного и мрачного, ударяющего точно посохом по безмолвию... За ним следовали все небольшие колокола с более близких колоколен – точно охваченные волнением и радостью, – в своих серебряных одеждах, казалось, устраивавшие на небе свою процессию...

Набожная Барбара приходила в восторг; казалось, что в этот день благочестие было разлито в воздухе, что экстаз нисходил с неба вместе с звоном колоколов на все стороны, что был слышен полет ангелов с их невидимыми крыльями. Все это как бы достигало ее души, – ее души, где она чувствовала присутствие Христа, где облатка, воспринятая ею утром во время службы, блестела еще полностью, в своем кругу, в середине которого она видела черты лица.

Старая служанка, подумав о доброте Христа, находившегося в ней, перекрестилась, снова начала молиться, вспоминая или как бы чувствуя во рту вкус Святых Даров.

Но ее хозяин позвонил: настал час завтрака. Он воспользовался этим, чтобы предупредить ее, что у него будут гости, и чтобы она имела это в виду.

Барбара была поражена; никогда он никого не принимал! Это показалось ей странным; вдруг ужасная мысль промелькнула у нее в голове: что, если то, чего она так боялась, о чем она, немного успокоившись, больше не думала, должно было произойти? Она догадывается... Да, именно, та женщина, о которой говорила ей сестра Розалия, вероятно, при-

дет!

Барбара почувствовала, как вся кровь прилила к ее лицу... В таком случае, ее решение принято, ее долг определен: ее духовник строго запретил ей отворять дверь этой женщине, служить за столом, быть у нее на посылках, принимать участие в грехе. И в такой день! В тот день, когда кровь Господа пройдет мимо дома! А она причащалась сегодня... Ах! нет! это невозможно! она покинет сейчас же свое место.

Она захотела узнать, и с небольшой тиранией, какую проявляет всегда в провинциальных городах прислуга старых холостяков или вдовцов, она настаивала:

– А кого вы, сударь, пригласили?

Гюг ответил ей, что она много позволяет себе, спрашивая его об этом, и что она узнает, когда это лицо придет.

Но Барбара, охваченная своею мыслью, все более и более казавшеюся ей правдоподобной, ощутив страх и настоящую панику, решила всем рискнуть, чтобы не быть застигнутой врасплох, и сказала:

– Может быть, вы ждете одну даму?

– Барбара! – воскликнул Гюг удивленным и немного суровым тоном, смотря на нее.

Но она проговорила спокойным тоном:

– Я должна знать заранее. Если вы ждете эту даму, я должна предупредить вас, что не могу служить за обедом.

Гюг был в недоумении: или он грезил, или она сошла с ума?

Но Барбара энергично повторила, что уйдет; она не сме- ла этого делать: ее уже предупреждали, и ее духовник запрети- л ей это. Разумеется, она не может послушаться, совершить смертельный грех, – чтобы умереть мгновенно и попасть в ад.

Гюг сначала ничего не понимал: но мало-помалу он уло- вил скрытую нить, угадал возможные рассказы, разглашение его любовной истории. Итак, Барбара тоже знала. И она угро- жала уйти, если явится Жанна! Как презирали все эту жен- щину, если бедная служанка, привыкшая к нему в продол- жение долгих лет, забывая свою выгоду, тысячи нитей, еже- дневно связывающих два существа, которые живут в постое- янном общении, предпочитала все бросить и покинуть его, чем служить ей один раз?

Гюг чувствовал себя без сил, ошеломленным, видя, как его стремление рушится перед этою внезапною неприятно- стью, разрушавшею неожиданно веселый план этого дня, и спокойным тоном сказал:

– Хорошо, Барбара, вы можете идти сейчас.

Старая служанка взглянула на него и вдруг, как добрая, простая, сострадательная душа, видя, что он мучится, – вкладывая в свой голос ласку, сообщенную ей природой для того, чтобы укачивать, убаюкивать, – она прошептала, качая головой:

– Господи! Как вы несчастны! И это из-за дурной женщи- ны, которая обманывает вас...

В течение минуты, забывая о разнице между ними, она проявила материнское чувство, облагороженная божественным состраданием, в этом возгласе, вырвавшемся у нее, как источник, который обмывает и может исцелить...

Но Гюг заставил ее замолчать, раздраженный, недовольный этим вмешательством, эту смелостью – заговорить о Жанне, и в каких выражениях! Он отказывал ей и без возврата. Пусть она приходит на другой день за вещами. Но сегодня пусть уходит, пусть сейчас же уходит!

Гнев хозяина лишил Барбару последних колебаний, которые она могла иметь, внезапно покидая его. Она надела свой красивый черный плащ с капюшоном, довольная собою и тем, что посвятила себя долгу и Христу, находившемуся в ней...

Затем, успокоившись, затихнув, она вышла из этого дома, где прожила пять лет; но, перед тем как удалиться, она посыпала перед домом цветы, которыми она наполнила свой фартук, чтобы улица только в этом месте не была без цветов во время процессии.

Глава XV

Как дурно начался день! Можно было бы подумать, что радостные мечты являются вызовом. Слишком долго подготавливаемые, они предоставляют возможность судьбе подменить яйца в гнезде, и мы должны высиживать одни огорчения...

Гюг, услышав, как захлопнулась дверь за Барбарой, почувствовал тяжесть в душе. Опять неприятность, еще большее одиночество, так как старая служанка постепенно стала участвовать в его жизни. Все это произошло из-за Жанны, этой непостоянной и жестокой женщины. Ах, сколько он уже выстрадал из-за нее!

Теперь ему хотелось, чтобы она не пришла. Он был грустен, взволнован, раздражен. Он думал об умершей... Как он мог поддаться этой лжи сходства, так быстро испарившейся? И что она должна подумать, там, за могилой, о том, что придет другая женщина в семейный очаг, еще полный ею, сядет на кресло, где она сидела, отражая в зеркалах, сохраняющих черты умерших, свое лицо вместо ее лица?

Раздался звонок. Гюг принужден был пойти открыть сам дверь. Это была опоздавшая Жанна, вся раскрасневшаяся от быстрой ходьбы. Она вошла быстро, решительно, окинула одним взглядом длинный коридор, комнаты и открытые двери. Уже доносились отдаленные звуки приближавшейся

музыки. Процессия должна была состояться в назначенный час.

Гюг сам зажег свечи на окнах и маленьких столиках, расставленных Барбарою.

Он поднялся с Жанной в первый этаж, в свою комнату. Окна были заперты. Жанна подошла и открыла одно.

– Ах, нет! сказал Гюг.

– Почему?

Он заметил ей, что она не может так явно показываться у него, пренебрегать всеми. В особенности – в день процессии! Провинция щепетильна. Все назвали бы это скандалом.

Жанна сняла шляпу перед зеркалом; она слегка напудрила свое лицо маленькой пуховкой из небольшой, слоновой кости, коробки, с которой не расставалась.

Затем она подошла к окну, показывая свои бросающиеся в глаза волосы, оттенка меди.

Толпа, наполнявшая улицу, смотрела, интересуясь этой, непохожей на Других, женщиной в кричащем наряде.

Гюг вышел из себя. Довольно было видно и за занавесками. Он быстро подошел, порывисто запер окно.

Тогда Жанна рассердилась, не хотела больше смотреть, легла на кушетку, надутая, злая.

Процессия пела. По доносившимся яснее прежнего псалмам можно было судить, что она близко. Гюг, очень опечаленный, отвернулся от Жанны; он прижал свой горячий лоб к окну, точно ощущая свежесть воды, могущей смыть все его

горе.

Проходили первые мальчики из хора, певцы с рыжими волосами, распевая псалмы, держа свечи.

Гюг различал процессию через окно, видел, как лица, участвовавшие в процессии, вырисовывались, точно цветные одежды на религиозных картинах из кружев.

Проходили конгрегантистки, держа в руках пьедесталы со статуями и изображением Иисусова Сердца, золотые хоругви, твердые, точно стекла; затем следовала благочестивая группа, цветник белых платьев, архипелаг тюля, где распространялся ладан небольшими голубыми волнами, – как бы собор юных девушек, окружающих пасхального Агнца, белого, как и они, точно сделанного из снега.

Гюг в одну минуту повернулся в сторону Жанны, которая еще по-прежнему дулась, протянувшись на кушетке, охваченная дурными мыслями.

Музыка труб и тромбонов стала еще слышнее, подавляла нежную вибрирующую гирлянду пения сопрано.

Из окна Гюг видел, как проходили рыцари Св. Земли, крестоносцы в золоте и вооружении, принцессы из брюжской истории, все те, имена которых связаны с именем Тьерри Эльзасского, принесшего из Иерусалима каплю Св. Крови. Эти роли исполнялись молодыми людьми и девушками из самой высшей фландрской аристократии, одетыми в старинную ткань и редкие кружева, драгоценности древней фамилии. Можно было бы подумать, что воплотились и ожили ка-

ким-то чудом святые воины, жертвователи с картин Ван-Эйка и Мемлинга, увековеченные в музеях!

Гюг почти не смотрел, потрясенный отказом Жанны, бесконечно опечаленный, особенно под влиянием пения псалмов, причинявшего ему боль. Он пробовал успокоить ее. С первого же слова проявилось ее дурное настроение.

Она повернула к нему глаза, рассерженная до такой степени, что, казалось, ее руки были полны предметов, которые должны были еще более оскорбить его.

Гюг замкнулся в самом себе, безмолвный, взволнованный, отдавая свою душу во власть музыки, раздававшейся на улице, чтобы она унесла его далеко от него самого.

Сначала шло духовенство, монахи всех орденов: доминиканцы, редemptористы, францисканцы, кармелиты; затем шли семинаристы в стихарях со складками, разбирая антифоны; вслед за ними шли священники каждого прихода в своих красных одеждах, имея вид детей из хора, викарии, священники-каноники в ризах, в вышитых далматиках, блестящих, как сады драгоценных камней.

Тихо раздался звон кадилъниц. Голубой дым распространился все ближе; все колокола соединились в более звучный мелкий град, ковавший воздух.

Появился епископ с митрой на голове, под балдахином, неся раку – небольшой золотой собор, увенчанный куполом, где среди тысячи камней, драгоценностей, изумрудов, аметистов, эмали, топазов, дорогих жемчугов покоится един-

ственный рубин Святой Крови.

Гюг, охваченный мистическим настроением, под влиянием благочестия всех этих лиц, веры этой огромной толпы, наполнявшей улицы, видневшейся под его окнами, еще дальше, повсюду, до конца города, с молитвой на устах, встал тоже на колени, когда увидел, как при приближении реликвии весь народ упал на колени, точно склонился под могучим порывом псалмов!

Гюг почти забыл о действительности, присутствии Жанны, о сцене, только что снова создавшей между ними охлаждение... Увидев, что он растроган, она стала подсмеиваться.

Он сделал вид, что не замечает этого, подавляя приливы ненависти, которую он начинал в виде мимолетных вспышек чувствовать к этой женщине.

Высокомерная, холодная на вид, она надела свою шляпу, показывая, что хочет уйти.

Гюг не осмеливался прервать этого тяжелого безмолвия, в которое погрузилась теперь его комната после процессии. Улица быстро опустела, уже немая, охваченная грустью, точно после ушедшей радости.

Она спустилась молча; затем, дойдя до нижнего этажа, она точно одумалась или почувствовала любопытство; она посмотрела с порога на комнаты, двери которых оставались открытыми. Она сделала несколько шагов, прошла вперед по этим двум комнатам, смежным между собою, точно отталки-

ваемая их суровым видом. Комнаты тоже имеют свою физиономию, внешность. Между ними и нами создается неожиданная дружба или антипатия. Жанна почувствовала себя дурно принятой, непригодной, чужой по отношению к этим зеркалам, неподходящей к этой старой мебели, неизменный порядок которой она угрожала нарушить.

Без церемонии она все рассматривала... Она заметила здесь и там портреты, на стенах, на камине, это были пастель и фотографии умершей.

– А! у тебя есть портреты женщин? – и она засмеялась дурным смехом.

Она подошла к камину:

– Вот портрет, похожий на меня... И она взяла в руки портрет.

Гюг, с горечью следивший за нею, видя, как она ходит здесь, вдруг ощутил живое страдание от невольно жестокой шутки, ужасной шалости, нарушавшей святость умершей.

– Оставьте! – крикнул он настойчиво.

Жанна рассмеялась, ничего не понимая.

Гюг подошел, взял у нее из рук портрет, оскорбленный прикосновением ее пальцев к памяти умершей. Он сам прикоснулся к ним с дрожью, как к святыням культа, точно священник к мощам или к чаше. Его горе стало для него религией. В эту минуту непогаснувшие свечи, горевшие в окнах для процессии, освещали комнаты, как часовни.

Жанна, насмешливо настроенная, наслаждалась гневом

Гюга, чувствуя желание еще более мучить его, она перешла из одной комнаты в другую, прикасаясь ко всему, переставляя безделушки, ощупывая ткани. Вдруг она остановилась с тонким хохотом.

Она увидела на пианино драгоценный стеклянный ящик желая продолжить свой вызов, подняла крышку, вынула с удивлением и любопытством длинные волосы, распустила их, растрепала по воздуху.

Гюг побагровел. Это была профанация! У него было ощущение кощунства... В течение целых лет он не осмеливался дотронуться до этой мертвой вещи, так как она принадлежала умершему лицу. А весь этот культ реликвии, после стольких слез, смывавших хрусталь каждый день, должен был привести к тому, чтобы стать предметом забавы женщины, которая срамит его... Ах, как долго она заставила его страдать! Вся ненависть, прилив испытанных страданий, накопившихся в течение месяцев, с каждой секундой часа, все подозрения, измена, надзор в дождливую ночь у ее окон – все это сразу представилось ему... Он должен прогнать ее!

Но Жанна, когда он бросился к ней, спряталась за столом, точно играя, показывая ему издали волосы, приближая их к своему лицу и устам, как ручную змею, обматывая ими свою шею, – точно это было боа из перьев золотой птицы.

Гюг кричал: «Отдай! отдай мне!»

Жанна бегала направо, налево, вертелась вокруг стола...

Гюг в этом бешеном вихре, под ее крики, насмешки, поте-

рял голову. Он догнал ее. Она держала волосы вокруг своей шеи, защищаясь, не желая отдавать их, сердясь и браня его теперь, потому что его судорожно сжатые пальцы причиняли ей боль. Отдашь?

– Нет, – сказала она, все еще нервно смеясь в его тисках.

Тогда Гюг словно сошел с ума; кровь прилила ему к вискам; глаза налились кровью; голова закружилась, он почувствовал внезапное бешенство, судороги в концах пальцев, желание схватить, стиснуть что-нибудь, сорвать цветы, испытал такое ощущение, словно его руки получили силу тисков; он схватил волосы, окружавшие шею Жанны, и хотел отнять их. Страшный, свирепый, он дернул, сжал вокруг шеи волосы, которые натянулись и были теперь тверды, точно веревка.

Жанна больше не смеялась; она испустила короткий крик, вздох, как дыхание водяного пузыря, умирающего на поверхности воды. Задохнувшись, она упала...

* * *

Она умерла, так как не угадала тайны, не поняла, что у Гюга было что-то, до чего нельзя было касаться под страхом кощунства. Она прикоснулась к мстительным волосам, которые – тем людям, чья душа чиста и близка с тайной – сразу давали понять, что в минуту, когда они будут профанированы, они сами превратятся в орудие смерти.

Таким образом, распался весь дом: Барбара ушла: Жанна покоилась без движения; умершая казалась еще более мертвой...

Что касается Гюга, то он смотрел, не понимая, не сознавая ничего...

Обе женщины сливались в одну. Похожие в жизни, они еще больше напоминали друг дружку в смерти, придавшей им одинаковую бледность, так что их нельзя было различить, точно это было единственное любимое лицо. Тело Жанны являлось только призраком прежней умершей, видимым здесь для него одного.

Гюг с душой, жившей прошлым, вспоминал теперь только об очень далеких вещах, начале его вдовства, в котором он, казалось, снова очутился... Очень спокойный, он сел в кресло.

Окна оставались открытыми...

Среди безмолвия донесся звон колоколов, всех колоколов сразу, звонивших, в минуту возвращения процессии в часовню Св. Крови. Окончилась чудная процессия... все, что существовало, пело... подобие жизни, воскрешение утра! Улицы снова опустели. Город снова остался одинок.

И Гюг без конца повторял: «Мертвый... мертвый... мертвый Брюгге...» машинально, изменившимся голосом, пробуя соразмерить эти слова с ритмом последних колоколов, утомленных, медленных, словно подавленных старостью, – колоколов, которые точно бросали замирая – на город или

на могилу? – свои железные цветы.

1892